

Хрущев, Суслов, Ильичев и скандал в Манеже (Отступление двенадцатое и последнее)

Теперь я перейду к описанию далеко не самого значительного, но изрядно нашумевшего события 1962 года, того, что впоследствии назовут «Скандалом в Манеже». Неудивительно, как и в случае с Пастернаком, все участники событий – люди амбициозные, пишущие, естественно, свое и о себе.

Посещение отцом новой экспозиции художественной выставки 1 декабря 1962 года внешне событие рутинное. Он ходил на выставки регулярно, вместе с ним таскались и другие члены Президиума ЦК. Не спеша осматривал залы, останавливался у одних полотен, бросал взгляд мельком на другие, на прощание расписывался в книге отзывов и благодарил устроителей за доставленное удовольствие. В марте отец уже побывал в Манеже, теперь экспозицию поменяли и ждали его со дня на день.

В 1962 году литераторы и художники, как и в предыдущие годы, продолжали бороться между собой за место под солнцем, причем молодые «либералы-модернисты» набирали очки. Василий Аксенов и Анатолий Гладилин, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко теснили стариков. Их книги раскупались мгновенно, тогда как тома «маститых» писателей пылились на магазинных полках. «Маститые» сдавать позиции не собирались ни в искусстве, ни во власти над искусством. Каждый из противоборствующих станов, как всегда, тащил отца на свою сторону.

Все чаще печатали произведения запрещенных в тридцатые и сороковые годы «неправильных» писателей от Зощенко до Бабея. Вернули читателям и Анну Ахматову. «Непроходные» книжки с трудом, но пробивались.

И наконец, мемуары тех, кому и о том, что вспоминать еще недавно не рекомендовалось, за которые могли и срок дать. И здесь первопроходцем стал неугомонный Илья Эренбург. Во второй половине 1960 года «Новый мир» печатает первую книгу его воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь», в апреле-июне 1962 года там же публикуют вторую порцию мемуаров. В них писатель вспоминал о людях, о существовании которых, казалось, забыли навсегда. Страницы о Николае Бухарине, расстрелянном Сталиным и все еще не реабилитированном политике и друге юности Эренбурга, как и упоминание еще об одной сталинской жертве Антонове-Овсенко цензура вымарала, потребовала убрать неканоническое описание поведения членов сталинского Политбюро на даче у Максима Горького, но очень многое осталось. Одни этому радовались, другие негодовали на автора и на тех, кто ему «потворствует».

7 июля 1962 года отец приехал в мастерскую корифея-скульптора академика Николая Васильевича Томского и «зарубил», казалось, бесспорный проект памятника Ленину. Зарубил, несмотря на позицию Союза архитекторов и поддержку Суслова. Поручил объявить конкурс, привлечь молодежь, пусть посоревнуются со стариками.

Тем же летом, вопреки всем – идеологам из ЦК, цензуре, «маститым» писателям, отец поддержал «либерала», поэта и редактора «Нового мира» Александра Твардовского, просившего разрешения опубликовать повесть никому не известного провинциала по фамилии Солженицын на более чем острую лагерную тему.

Все началось 3 июля 1962 года, когда Твардовский передал рукопись помощнику отца Владимиру Семеновичу Лебедеву. В число многих его обязанностей входил и надзор за литературой. Лебедев пообещал Твардовскому улучшить момент, доложить Хрущеву. В положительной реакции он не сомневался, нужно только все правильно рассчитать. Помощники, по возможности, избегают докладывать «провальные» вещи. Каждая неудача – это удар по их репутации.

Подходящий момент выдался только в сентябре, когда отец отправился в Пицунду, догуливать отпуск, прерванный полетом космонавтов Николаева и Поповича. В ту осень отец отдыхал только с мамой, я и сестры оставались в Москве. Так что я рассказываю о происходившем в Пицунде с чужих слов. Наиболее достоверное свидетельство – дневники самого Твардовского. Он пишет, как было дело, по горячим следам, без последующих наслоений и политических оценок. Заранее прошу читателей простить меня за обильное цитирование уже опубликованного, но, возможно, не всеми прочитанного.

8 один из вечеров на вопрос: «Ну, что там у вас еще?» – Лебедев ответил, что Твардовский принес ему повесть автора, прошедшего сталинские лагеря, и просит совета. Лебедев пояснил, что Александр Трифонович в превосходной степени характеризует литературные достоинства произведения, но тема уж очень сложная, необходима политическая оценка.

– Ну что ж, давайте почитаем, – благодушно отозвался отец.

Лебедев начал читать вслух. Отец любил такие слушания, они позволяли расслабиться, дать отдых натруженным глазам. Если повествование оказывалось нудным, он позволял себе и вздремнуть. На этот раз отец слушал со все возрастающим вниманием. Возможно, он впер-

вые ощутил, как же все происходило в те страшные годы на самом деле. Именно ощутил. Одно дело читать справки о сталинских жертвах, в них цифры, фамилии погибших звучат абстрактно, конкретные судьбы не проглядываются. Что такое цифры? Подставишь нолик – станет в десять раз больше. Чего больше? Пудов урожая? Или людей, закопанных вповалку во рвах? И совсем другое – прочувствовать изнутри, через страдания героя литературного произведения, если оно, конечно, талантливое. Это все равно что прочитать «Нашествие Наполеона» Тарле или «Войну и мир» Льва Толстого.

«Иван Денисович» высветил весь ужас лагерной нечеловеческой жизни, нечеловеческой судьбы. Владимир Семенович рассказывал мне потом, что у отца не возникло ни малейших сомнений – печатать повесть необходимо, нужно рассказать правду о лагерях.

«16 сентября 1962 года, Москва, – записал Александр Трифонович в дневнике. – Счастье, что эту новую тетрадь я начинаю с факта, знаменательного не только для моей каждодневной жизни и не только имеющего, как мне кажется, значение в ней поворотного момента, но обещающего серьезные последствия в общем ходе литературных, следовательно, и не литературных дел: Солженицын («Один день») одобрен Н[икитой] С[ергеевичем].

Вчера (отец вернулся из отпуска в Москву 14 сентября, вместе с ним прилетел и Лебедев. – С. Х.) после телефонного разговора с Лебедевым, который был ясен прислушивающейся к нему М. И. (жена Твардовского Мария Илларионовна. – С. Х.), я даже кинулся обнять ее и поцеловать и заплакал от радости, хотя, может быть, от последнего мог бы удержаться, – но мне и эта способность расплакаться в трезвом виде в данном случае была приятна самому.

В ближайшие дни я должен быть на месте – Н[икита] С[ергеевич] пригласит меня – завтра или в какой-нибудь другой день, словом, Лебедев просил меня не отлучаться, даже в См[олен]ск, – все это я, конечно, понял как обеспечение моей “формы” (то есть трезвого состояния. – С. Х.) на случай вызова, но бог с вами!

“Он вам сам все расскажет, он под свежим впечатлением...” Но понемногу Лебедев мне уже все рассказал, предупредив, что это только между нами. Н[икита] С[ергеевич] “прочел”, ему читал Лебедев – это даже трогательно, что старик любит, чтобы ему читали вслух, – настолько он отвык быть один на один с чем бы то ни было. Но так или иначе – прочел. Прочел и, по всему, был не на шутку взволнован. “Первую половину мы читали в часы отдыха, а потом уж он отодвинул с утра все бумаги: давай, читай до конца. Потом пригласил Микояна и Ворошилова. Начал им вычитывать отдельные места, напр[имер], про ковры...”

Видимо, так было, что он спросил Лебедева, в чем, собственно, дело – это хорошо, но чего Твард[овский] хочет. Лебедев ему – так и так, ведь “Дали” Твардовского, если б не ваше, Никита Сергеевич, вмешательство, не увидели бы света в окончательном виде. Не может этого быть, говорит тот. Как же, Н[икита] С[ергеевич], не может, когда вы сами тогда звонили Суслову по этому случаю. – А, помню, помню...

Я уже держу в уме слова телеграммы, которую пошлю ему (Солженицыну. – С. Х.) после встречи с Н[икитой] С[ергеевичем]: “Поздравляю победой выезжай Москву”. И сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне самому. Счастье».

После XXII съезда партии, выноса тела Сталина из Мавзолея отец настроился решительно, но тем не менее, давать в одиночку окончательное заключение не хотел. Отношение к повести Солженицына надлежало высказать коллективному руководству.

Возвращаясь к дневнику Твардовского, к записи от 21 сентября 1962 г.

«Вчерашний звонок Поликарпова. (Поликарпов Дмитрий Алексеевич, в 1955–1962 годах заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС. – С. Х.).

– Изготовь двадцать (не более и не менее) экземпляров этого твоего “Ивана, как его, Парфеныча?”

– Денисовича.

– Ну, Денисовича. Не более и не менее.

– А ты в курсе насчет...

– В курсе. Позвонил Лебедеву: я, мол, не для проверки, но так как помню ваши слова, что не набирать до поры...»

Лебедев подтвердил указание Поликарпова. Рукопись срочно размножили и отослали Поликарпову. В ЦК приклепнули на первую страницу красную печать, запрещающую делать копии, выносить, передавать и обязывающую вернуть материал по истечении надобности в Общий отдел ЦК.

Пока рукопись размножали, возили с места на место, рассылали адресатам, отец улетел в Ашхабад.

Между тем идеологическая интрига разворачивалась не только вокруг «Ивана Денисовича». Летом, уже ставший именитым, тридцатилетний поэт Евгений Евтушенко сочинил стихотворение, от одного названия которого – «Наследники Сталина» у пропагандистов в ЦК мороз пробирал по коже. Публикация его представлялась столь же немислимой, как и повести Солженицына, и Евтушенко тоже решил обратиться за помощью к Хрущеву. Евтушенко с ни силой, ни весом Твардовского не обладал, но телефон Лебедева у него имелся. Владимир Семенович предложил Евтушенко передать ему текст стихотворения. О реакции он сообщит. Поэт запечатал стихотворение в конверт, отнес ЦК и сдал в окошко. Через некоторое время Лебедев пригласил Евтушенко к себе, сделал какие-то незначительные замечания и пообещал при случае показать «Наследников» Хрущеву. Евтушенко дожидаться «случая» не стал и улетел на Кубу, там по его сценарию снимался фильм «Куба – любовь моя». Лебедев свое слово сдержал, на Пицунде прочитал Хрущеву не одного «Ивана Денисовича», но и «Наследников Сталина».

Отец возвратился в Москву только 10 октября. Пока он путешествовал по Средней Азии, китайские войска пересекли в Гималаях границу с Индией, которую они и границей не считали. Разгоралась нешуточная война между нашим «братом» по социалистическому лагерю и дружественной нам Индией. Отец всеми силами старался погасить конфликт и в то же время не испортить отношений ни с одной из конфликтующих сторон. После приезда отца Президиум ЦК собирался два дня подряд, 11 и 12 октября. 12 октября отец, сверх программы, включил в повестку дня вопрос о «Иване Денисовиче» и «Наследниках Сталина».

Повесть Солженицына к тому времени осилили еще далеко не все. Члены Президиума не предполагали, что отец спросит их мнение сразу после возвращения, как будто нет дел поважнее. Решение по ней отложили до следующего раза, а вот «Наследников Сталина» отец предложил прочитать вслух тут же, на заседании. По окончании чтения в зале повисла тишина. Поданная в таком виде тема Сталина большинству присутствовавших не пришлась по вкусу, кое-кому даже показалось, что речь идет о них самих, но возразить никто не решился, одобрять стихотворение первым тоже никому не хотелось.

– Ну как? – прервал отец тягостное молчание.

Никто не откликнулся, и он заговорил сам. По его мнению, автор «выступает с принципиальных позиций, говорит о культе личности». Отец предложил товарищам стихотворение опубликовать. Товарищи согласились и проголосовали «за».

«Наследники Сталина» уже всюду ходили по рукам. До отъезда на Кубу Евтушенко раздавал машинописные копии стихотворения всем желающим. Неудивительно, что одна из них оказалась в руках Аджубея, случайно или он ее получил от самого Евгения Александровича, сейчас сказать не берусь. Естественно, Алексей Иванович, газетчик до мозга костей, загорелся опубликовать стихотворение первым у себя в «Известиях». Однако сделать это он мог только с благословения Хрущева, не к Суслову же идти. Отец находился в отъезде. Пришлось ждать. Мы все ждали отца. 14 октября, первое за последние недели воскресенье, когда мы смогли собраться на даче в Горках-9, вместе погулять, наговориться, отобедать.

Утро 14 октября выдалось холодным, по-настоящему осенним, даже предзимним. По окончании завтрака отец, как обычно, сидел за уже очищенным от посуды огромным, человек на двадцать, застеленным белой скатертью обеденным столом, перелистывал «утреннюю порцию» бумаг. Всерьез отец погружался в чтение только после обеда, сейчас же он выбирал самые срочные, неотложные документы.

За высокими, во всю стену окнами неспешно сыпался первый снежок. День начинался серенький. В столовой его серость усугублялась темными, зашитыми под потолок, дубовыми «сталинскими» панелями. До нас дачу занимал Молотов, он до мелочей старался выдерживать стиль «хозяина». Когда мы переехали на дачу, на противоположной окнам глухой стене в нишах висели четыре черно-белых «официальных» фотопортрета: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Отец распорядился Сталина убрать. О прошлом напоминала ниша с торчащим в ее центре металлическим крюком. В остальном отец ничего менять не стал – дача государственная, он здесь не первый и не последний постоялец.

В самом конце 1990-х годов по телевизору показывали российского президента Бориса Ельцина в домашней обстановке. Теперь он обитал в Горках-9. Съемка шла в соседствующей со столовой парадной гостиной, комнате со светлой мебелью в стиле ампир, обставленной еще в тысяча девятьсот тридцатые годы по вкусу Полины Семеновны, жены Молотова. Мне показалось, что Ельцин сидит все в том же, «молотовском» кресле, в котором до него саживал и сам Вячеслав Михайлович, и отец, и глава горбачевского правительства Николай Иванович Рыжков. Меняются правительства и политических эпохи, а мебель на «объектах» остается все той же. Но я отвлекся. Вернемся в столовую.

Я сидел за столом с противоположной стороны от отца, дожидаясь, когда он разберется с почтой и мы все отправимся на традиционную прогулку. Алексей Иванович вертелся поблизости, то отходил к двери, ведущей в гостиную, то возвращался к столу. В руках он держал свернутый вчетверо листок бумаги. Он явно выжидал, когда отец оторвется от чтения.

Закончив перекладывать разноцветные бумажные папочки, отец упрятал их в объемистую кожаную коричневую папку, застегнул ее на кнопку тоже кожаного «язычка» и вопросительно взглянул на Аджубея: «Что там у вас?»

Алексей Иванович метнул на меня быстрый взгляд, он явно хотел остаться с отцом наедине. Я его отлично понял, но не двинулся с места. Аджубей, чуть помешкав, начал разглагольствовать, какой замечательный поэт Евтушенко, он написал политически актуальное стихотворение о Сталине и сталинистах, но требуется благословение отца. Знал ли он об уже состоявшемся решении Президиума ЦК? Скорее всего, не знал, заседали всего пару дней назад, и вопрос о Евтушенко не выделялся из множества других. А если бы и знал, то оно бы только подстегнуло Алексея Ивановича, ведь публикацию разрешили, но пока безадресно.

– Читайте, – прервал зятя отец. Он уже понял, что за листочек у него в руках, а вот пойдет ли речь об уже известных ему «Наследниках Сталина» или это что-то новенькое, он, естественно, не знал.

Алексей Иванович декламировал профессионально, он когда-то закончил актерскую студию и во время войны даже снимался в фильмах «Беспокойное хозяйство» и «Близнецы», правда, в ролях эпизодических. Стихотворение звучало пафосно. Мне запомнились слова:

...Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил... —

«Написано под Маяковского», – мелькнуло у меня в голове.

...удвоить, утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал и со Сталиным – прошлое... —

продолжал Аджубей. Мне представилось, что больше других Сталин хотел бы запомнить именно отца, и еще, что за подобные слова Сталин в свое время упек другого поэта, Осипа Мандельштама в лагерь. Я совсем недавно впервые прочитал его, все еще подпольное, стихотворение о «Вожде». И этого бы упек!

Отец поднял и вновь опустил глаза, он слушал, но одновременно одним глазом поглядывал в раскрытую «Правду». За просмотром бумаг обычно следовал просмотр газет. Отец всегда начинал с «Правды». Алексей Иванович вклинился в этот промежуток, и отец, не отвлекаясь, механически перелистывал газету. Вдруг он остановился, что-то его заинтересовало. Я последовал за взглядом отца; надо же такому случиться, в левом верхнем углу газеты высвечивало название другого стихотворения, тоже Евтушенко, и тоже актуального – «Кубинская мать». В те годы Сатюков еженедельно, по воскресеньям, в одном и том же, левом верхнем углу четвертой страницы помещал хорошие, по его мнению, и одновременно политически актуальные стихи. Стихотворение «Кубинская мать» Евтушенко написал на Кубе и передал текст в Москву с оказией. Стихотворение тут же пошло в набор.

Нет, Сталин не сдался.
Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из Мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?

Алексей Иванович, на мгновение оторвавшись от текста, поднял голову. Отец больше не подглядывал в «Правду», он слушал внимательно, как будто в первый раз. Я и предположить не мог, что стихотворение отцу уже известно. Ничего удивительного, хорошие стихи, сколько их ни читай, даже очень знакомые, воздействуют на слушателя раз от раза сильнее.

Иные и Сталина даже ругают с трибун,
а сами ночами тоскуют о времени старом, —

продолжил декламировать Алексей Иванович.

...Покуда наследники Сталина живы еще на земле,
мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее.

Закончив, Аджубей перевел дух и вопросительно посмотрел на отца. Отец молчал, но молчал одобрительно, стихотворение ему явно нравилось.

– Очень своевременное стихотворение, – начал Алексей Иванович, – мы бы хотели его опубликовать в «Известиях», если конечно...

Алексеем Ивановичу очень хотелось «вставить перо» «Правде», взять реванш за статью Либермана.

– Но опубликуем мы его в «Правде», – в тон ему продолжил отец и, заметив обиженное выражение лица Аджубея, закончил: – Вы уж не расстраивайтесь.

Алексей Иванович очень расстроился, снова он «вставил перо» сам себе. Вслух же сказал, что обижаться и не думает, «Правда» – орган ЦК, стихотворение Евтушенко, напечатанное на ее страницах, обретет истинно политическое звучание.

– Ну вот и хорошо, – примирительно пробурчал, вставая со стула, отец. Он прошел в соседнюю гостиную, я о ней только что упомянул, там на столике у двери стояла стандартная батарея телефонов, и набрал номер своей приемной.

– Передайте, пожалуйста, Сатюкову, чтобы он позвонил мне на дачу, – попросил он дежурного секретаря.

Сатюков отзвонил буквально через минуту.

– Алексей Иванович передаст вам стихотворение Евтушенко. Его надо напечатать в «Правде», и поскорее, – после краткого обмена приветствиями распорядился отец.

О решении Президиума ЦК он не упомянул. Сатюков пообещал поместить стихотворение в следующий воскресный номер «Правды».

– Теперь пошли гулять, – положив трубку, позвал нас отец.

Все гурьбой отправились на прогулку, сначала по дорожкам парка, а затем на берег Москвы-реки, один только Алексей Иванович остался дома, он диктовал Сатюкову текст стихотворения.

Через неделю, в воскресенье, 21 октября, «Правда» опубликовали «Наследников Сталина». Поверх «Наследников» осторожный Сатюков поместил стихотворение таджикского поэта Мирсанда Миршакара в переводе Михаила Державина «Программа нашей партии ясна». Тем самым как бы «сбалансировал» его, а снизу «подкрепил» «Винтиком» Ярослава Смелякова, начинающегося строфой «Угрюмый вождь, вчерашний гений...» Стихотворения, да еще в «Правде», произвели ожидаемое отцом впечатление, политическое, конечно. Одни – ободрились, другие – затаились. На время.

Твардовский к концу октября совершенно измаялся. Он дожидался аудиенции с середины сентября, а после возвращения отца из Средней Азии буквально не отходил от телефона. Телефон молчал.

«Главное за этот период, кроме дважды возникавших “вспышек” (запоев. – С. Х.), – ожидание, ожидание, ожидание, – записывает 19 октября 1962 года Александр Трифонович в дневнике. – Последние дни оно усилено еще и тем, что уже не только Н[икита] С[ергеевич], но и Президиум принял решение об опубликовании “Ивана Денисовича”. Вопрос об этом обсуждался в ряду с примерами “сопротивления аппарата решениям XXII съезда” (“нельзя делать вид, что ничего не случилось”) в связи с некоторыми письмами (Евтушенко. – С. Х.) и случаями вроде “прохождения” “Синей тетради” покойного (Эммануила Казакевича. Он в том году скончался от рака. Об истории с его повестью “Синяя тетрадь” я уже писал, а что за письма Евтушенко, не знаю. – С. Х.)

И совсем новое: вопрос о “Теркине на том свете”. Будто бы даже произнесены (Хрущевым. – С. Х.) такие слова: “Мы тогда критиковали Тв[ардовско]го, в том числе и я, а надо было печатать”. С понедельника (15 октября. – С. Х.), когда я (еще несвежий после запоя) был у Лебедева, только это занимает меня всего. С сегодняшнего утра (сегодня или завтра ОН примет меня) особо напряженное ожидание. Пожалуй, трудно представить в моей жизни более напряженное сближение таких мощных воздействий на нервы двух сторон – подавленности сознанием своей “слабости” и сознания такого значительного успеха, победы в полном смысле, требующей, однако, сил и выдержки».

Между тем события в мире развивались своим чередом, конфликт в Гималаях не то что утих, но потерял остроту. В субботу, 20 октября, отец встретился с Твардовским, скорее всего в ЦК. В журнале посещений его Кремлевского кабинета приход Твардовского не зафиксирован, в нем вообще в тот день не сделано никаких записей. Позволю себе повториться, здесь это мне представляется уместным, что отец любил Твардовского как поэта. Его стихи своей крестьянской напевностью будили воспоминания детства, уводил далеко-далеко, на Курщину, в родную Калиновку. Восхищал отца и «Теркин» – истинно народная баллада о солдате-стратотерпце и солдате-победителе. А вот с Твардовским-редактором отношения складывались, как я тоже писал, неровно, то отец всецело поддерживал его, то с подачи Суслова, Шепилова и иже с ними, обрушивал на «Новый мир» и его редактора громы и молнии идеологических обвинений.

На сей раз встреча прошла на дружеской ноте. «Меня встретили с такой благосклонностью, как никогда раньше. Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов», – рассказывал Твардовский по возвращении из ЦК своим единомышленникам.

21 октября Александр Трифонович подробно описал в дневнике, что происходило накануне: «Вчера наконец состоялась встреча с Н[икитой] С[ергеевичем], которая последние 1–1 1/2 м[еся]ца составляла главную мою заботу, напряжение, а в последние дни просто-таки мучительное нетерпение. Лишь накануне мне пришла простая догадка о том, что Н[икита] С[ергеевич] знать не знает о том, что я знаю о его намерении встретиться со мной. Поэтому-то никакими обязательствами обещания, назначенности дня – как если бы я сам просил о приеме или он уведомил меня о своем желании видеть меня, – ничего этого у него не могло быть. И я не мог даже посетовать на него, – так уж все это сложилось. В четверг мне Лебедев сказал, что “либо завтра, либо послезавтра (т. е. в пятницу, 19 октября, либо в субботу, 20 октября. – С. Х.)”. Пятница прошла – ни звука. Утром вчера Лебедев посоветовал: “Позвоните”.

– Поехать на вертушку?

– Зачем, по городскому.

– Соединят ли?

– Я там договорился с т. Серегиним. (Серегин – офицер КГБ, один из дежурных в приемной Хрущева. – С. Х.).

Звоню:

– Товарищ Серегин?

– Да, товарищ Серегин, – отвечает тов. Серегин.

– Нельзя ли просить...

– Нет, по этому телефону он не может. Я доложу и позвоню вам. Не менее чем через час: “Приезжайте к нам”.

Хрущев встал навстречу, приветливо поздоровался, несколько слов насчет здоровья, возраста, Роберта Фроста. К чему? (Отец встречался с Фростом в Пицунде 7 сентября 1962 г. – С. Х.)

– Не знаю, первый поэт Америки – не показался он мне. Может, он был когда-то таким.

– Ну так вот, насчет “Ивана Денисовича” (это в устах Хрущева было и имя героя, и как бы имя автора). Я начал читать, признаюсь, с некоторым предубеждением и прочел не сразу, поначалу как-то не особенно забирало. Правда, я вообще лишен возможности читать запоем. А потом пошло и пошло. Вторую половину мы уж вместе с Микояном читали. Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный – не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжелого, хотя там много горечи. Я считаю, эта вещь жизнеутверждающая (это слово было в моем (Твардовского. – С. Х.) рукописном предисловии, а в отпечатанном (20 экземпляров. – С. Х.) уже не было – меня уговорил и Дементьев (заместитель Твардовского в “Новом мире”. – С. Х.), и другие опустить это слово, хотя я, право же, не считал его вынужденным, но, верно, оно и банальное, и в сочетании с “материалом” звучит несколько фальшиво.

– Вещь жизнеутверждающая, – повторил Хрущев. – И написана, я считаю, с партийных позиций. Надо сказать, не все и не сразу так приняли вещь. Я тут дал ее почитать членам Президиума.

– Ну как? – спрашиваю, когда мы собрались снова. Как же, если мы говорили на XXII съезде то, чему люди должны были поверить, – поверили, как же мы им самим не будем давать говорить то же самое, хотя по-своему, другими словами? Подумайте.

На следующем Президиуме мнения сошлись на том, что вещь нужно публиковать», – Твардовский слово в слово записал, что ему говорил Хрущев.

Теперь давайте освежим хронологию. Поликарпов потребовал от Твардовского двадцать экземпляров «Ивана Денисовича» 20 сентября. В тот день прошло заседание Президиума ЦК, на котором отец, по всей видимости, рассказал о прочитанной им повести и посоветовал коллегам с ней ознакомиться. В записках Малина нет упоминаний об обсуждении «Ивана Денисовича» на Президиуме ЦК, оно и не удивительно, большинство его членов повесть еще в глаза не видели. До 26 сентября, дня отъезда отца в Среднюю Азию, Президиум ЦК, видимо, не собирался, по крайней мере, записи на сей счет отсутствуют. Следующее заседание с участием Хрущева – только 12 октября, тогда речь зашла о Евтушенко и Солженицыне. Согласно записям Твардовского, решение о публикации «Ивана Денисовича» отложили. Приняли его 14 октября, в воскресенье, на внеурочном заседании, посвященном индо-китайскому конфликту. С одной стороны сомнительно, не до «Ивана Денисовича» было в тот день, с другой – весьма возможно. Отец под впечатлением прослушанных утром стихов Евтушенко мог вспомнить о повести и попросить членов Президиума дать добро на ее публикацию. Все – «за». «Правда, некоторые говорили, что напечатать можно, но желательно было бы смягчить обрисовку лагерной администрации, чтобы не очернять работников НКВД», – вспоминает Твардовский беседу с Хрущевым. На что отец возразил: «...что же, думаете, что там не было этого. Было, и люди такие подбирались, и весь порядок к тому вел. Это – не дом отдыха». Другими словами «за» «товарищи» голосовали вынужденно, с отцом спорить не хотели, а в душе...

Дальше разговор зашел на более общую тему Сталина и сталинизма. Вот как Твардовский пересказал, что говорил ему отец: «У нас работает специальная комиссия, уже есть вот таких три тома, где все документально и подробно изложено про этот период. Этого публиковать сейчас нельзя, но пусть все будет сохранено для тех, кто придет нам на смену. Пусть знают, как все было. Мы вообще не судьи сами себе, особенно люди, стоящие у власти. Только после нас люди будут судить о нас: какое наследие мы получили, как себя вели (при Сталине и после него), как преодолевали последствия того периода.

Мне многие пишут, что аппарат у нас сталинский, все сталинисты по инерции, что надо бы этот аппарат перешерстить. Да, в аппарате у нас сталинисты, – отвечает он (Хрущев. – С. Х.) сам себе, – и мы все сталинисты, и те, что пишут, – сталинисты, может быть, в наибольшей степени. Потому разгоном всех и вся вопрос не решается. Мы все оттуда вышли и несем на себе груз прошлого. Дело в преодолении навыков, навыков самого мышления, в уяснении себе сути (исторической), а не в том, чтобы разогнать (или пересажать)».

Твардовский дожидался, пока Хрущев закончит свою тираду, чтобы перейти к теме, волновавшей его не меньше разрешения опубликовать «Ивана Денисовича», к теме цензуры. Наконец такая возможность ему представилась.

– Я обратился к вам, Никита Сергеевич, с этой рукописью потому, что, говоря откровенно, мой редакторский опыт с непреложностью говорил мне, что если я не обращусь к вам, эту талантливую вещь зарежут, – произнес Твардовский заранее продуманную фразу.

– Зарежут, – с готовностью подтвердил Хрущев. Тут Твардовский напомнил Хрущеву, что заключительные главы его поэмы.

«За далью – даль» тоже запрещали.

«– Кто это мог, как это могло случиться? – Хрущев повторил те свои слова, которые я (Твардовский. – С. Х.) уже слышал от Лебедева».

Напомню читателям, о чем шла речь. Законченную в 1953 году поэму «За далью – даль» долго держали в цензуре, подозревали автора в сочувствии кулакам, так как родители Твардовского подверглись раскулачиванию и были отправлены в ссылку. Понадобилось вмешательство отца, чтобы весной 1960 года поэму наконец-то напечатали, и не где-нибудь, а в «Правде», и не когда-либо, а на Первомай, 29 апреля и 1 мая. В 1961 году, тоже при прямой поддержке отца, Твардовский получил за нее Ленинскую премию. Так что «удивленные»

возгласы, как отца, так и Лебедева можно считать чисто риторическими. Они все отлично помнили. Однако «забывчивость» Хрущева позволила Твардовскому напрямую заговорить о цензуре.

И снова цитирую записи из дневника Твардовского: «"Современник"» Некрасова и правительство Николая I и Александра II – два разных, враждебных друг другу лагеря. Это там цензура – дело естественное и само собой разумеющееся. А например, «Новый мир» и советское правительство – один лагерь. Я, редактор, назначен ЦК. Зачем же надо мной поставлен еще редактор-цензор, которого, по его некомпетентности, ЦК заведомо никогда бы не назначил редактором журнала, а он вправе изъять любую статью, потребовать таких-то купюр и т. п. Это редактор над редактором.

И главное, хотя функции этих органов (цензуры-Главлита) ограничены обеспечением соблюдения государственной и военной тайны, они решительно вмешиваются в область собственно литературную («почему такой грустный пейзаж» и т. п.) и часто берут на себя как бы осуществление литературной политики партии, опираясь, например, на постановление ЦК о «Звезде» и «Ленинграде» (в частности в отношении Зоценко), которое, в сущности, уже изжито, снято самим ЦК, который давно уже не только разрешил издавать Зоценко и Ахматову, но всем духом и стилем руководства литературой отошел от диктата этого постановления.

Хрущев, как бы размышляя вслух, произнес в ответ: «Это надо обдумать. Может быть, вы правы. В самом деле, год назад отменили цензуру на сообщения из Москвы иностранных корреспондентов, и что вы думаете? Стали меньше лгать и клеветать»».

Друг и заместитель Твардовского по журналу Владимир Лакшин развивает дневниковую запись: «Хрущев согласился со мной, – рассказывал Александр Трифонович (своим соратникам по «Новому миру». – С. Х.), – что то или иное мнение руководящего лица о произведениях искусства зависит часто от причин случайных, даже от дурного пищеварения».

Твардовский убеждал Хрущева, что литература лучше поможет советской власти, если ей дадут возможность свободнее критиковать темные стороны жизни.

«Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от критики, – говорил Александр Трифонович, – знайте, Никита Сергеевич, – все лучшее в нашей литературе поддержит вас в борьбе с культом личности».

«– Вот мне прислал письмо и свои запрещенные к печати стихи, этого, как его? – Хрущев на секунду забыл фамилию, но тут же вспомнил и продолжал: – Евтушенко, – пишет Твардовский в дневнике. – Я (Хрущев. – С. Х.) прочел: ничего там нет против советской власти или против партии.

...Мне чудится,
будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.
Куда еще тянется провод из гроба того?

И опять Хрущев начал вспоминать о прошлом».

Вернусь к записям Лакшина.

«Еще одна просьба, личная, – сказал Твардовский, когда беседа подходила к концу. Никита Сергеевич весь сразу сник, потух, видно, решил, что попросит квартиру или дачу. Все оживление его погасло. – Нельзя ли отложить мою поездку в Америку? Я хочу закончить поэму, так сказать, на своем приусадебном участке поработать.

Твардовский пояснил, что он со своей поэмой, «как баба на сносях»...»

Речь шла о «Теркине на том свете», его история тоже уходила в далекий 1954 год. Идеологи выискивали в ней, и находили, множество аллегорий, намеков и, вообще, они не пони-

мали, при чем тут «тот свет». Что, Твардовскому «этого света» не хватает? Хрущева тоже втянули в возню вокруг «Теркина на том свете». С тех пор прошло уже почти восемь лет, отец не забыл той истории, но детали не очень уж помнились.

И снова из дневника Твардовского.

– А-а... Конечно, помню, – отозвался Хрущев на просьбу Твардовского.

– Она тогда страдала рядом несовершенств, – дипломатично продолжил Александр Трифонович.

– Нет, она и тогда была очень талантлива... – перебил его отец. – Только отдельные места...

Отец никак не мог припомнить, что же ставилось в вину автору.

– Ах, боже мой, там и места этого давно нет, – пришел ему на помощь Твардовский. – Однако я прямо скажу, что моя доработка вещи не идет по линии сглаживания ее остроты, наоборот, она будет острее.

«– Конечно, конечно, – поощрительно откликнулся Хрущев. – Нет, вам сейчас ехать не нужно. У нас сейчас с ними (с американцами. – С. Х.) отношения вот такие (показал жестом бодание. – С. Х.), потом это пройдет.

На просьбу отложить мою поездку в Америку до весны Никита Сергеевич отозвался так, точно ему это даже понравилось».

20 октября отец еще не знал, что американцы уже сфотографировали наши ракеты на Кубе и кризис разразится в ближайший понедельник, но не сомневался, что после того как они о них узнают, по его задумке, в ноябре, и от него самого, Твардовскому в США придется ох как не сладко.

– Спасибо, – Твардовский благодарит Хрущева за согласие на непоездку в Америку. – И еще одна, последняя просьба. Когда я поставлю точку, разрешите показать вам «Теркина на том свете».

– Буду рад прочесть, – вежливо отозвался Хрущев. И на прощание добавил: – Будьте только здоровы, а все остальное – слава и все другое у вас есть и останется навсегда.

«На другой день Александр Трифонович собрал всех в редакции и кратко, во избежание лишних слухов, проинформировал сотрудников. Говорил, что Хрущев произвел на него очень хорошее впечатление нежеланием грубо вмешиваться в литературные дела. “Кажется, он досадует, что у него нет своего Луначарского”», – цитирует Лакшин своего друга и главного редактора.

Карибский кризис прогремел и отгремел.

Ко дню открытия ноябрьского Пленума ЦК вышел одиннадцатый номер «Нового мира» с «Иваном Денисовичем». Твардовский его специально подогнал к «красной» дате. Он и сам, кандидат в члены ЦК, спешил в Кремль, в Свердловский зал, к началу первого заседания, но по пути забежал в редакцию, там его ждал Солженицын. Они накануне уже встречались, но наговориться не успели.

«Утро. Иду на Пленум. Вчера – Солженицын. Часа четыре, – записывает в дневнике Твардовский. – Труден кое в чем до колотья в печени. Но молодец. Однако взвинченно-озабочен, тороплив, рвется бежать, хотя, говорю, вот сейчас, через три минуты подойдет машина.

Первый день Пленума – доклад Никиты Сергеевича. Как всегда, длинновато, необязательно для Пленума ЦК по техническим подробностям и т. п., как всегда, главный интерес не в “тексте”, а в том, когда он отрывается, так сказать, от текста, как то к ленинской записке о “партии, стоящей у власти, защищающей своих мерзавцев”.

После вечернего заседания вышел из зала – ух ты: почти у всех в руках вместе с красной обложкой только что розданного текста доклада Хрущева – синяя “Нового мира”. Подвезли, кажется, 2 000 экземпляров. Спустился вниз, где всякая культторговля – очереди, и не

одна, к стопкам “Нового мира”. Это не та покупка, когда высматривают, выбирают, а когда давай, давай – останется ли...

Вечером поделился с Заксом, (еще один заместитель Твардовского в “Новом мире”), а он говорит, что весь день в редакции бог весть что – звонки, паломничество. В городских киосках составляют списки на 11-й номер, а его еще там нет, но сегодня, должно быть, будет.

Нужно же мне, чтобы я, кроме привычных и изнурительных самобичеваний, мог быть немного доволен собой, доведением дела до конца, преодолением всего того, что всем без исключением вокруг меня представлялось просто невероятным».

Не все писатели разделяли восторги Твардовского. «Я встретил Катаева, – записывает 24 ноября 1962 года в дневник Чуковский, – он возмущен повестью “Один день”. К моему изумлению сказал: “Повесть фальшивая, в ней не показан протест”. – “Какой протест?!” – “Протест крестьянина, сидящего в лагере... Как он смел не протестовать, хотя бы под одеялом?” А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабы гимны, как все. Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская политика, проводимая Хрущевым».

Я думаю, что Чуковский немного перебрал, Катаев – не черносотенец, он просто завидовал Солженицыну.

Немыслимые ранее подвижки происходили не только в литературе, но и в изобразительном искусстве.

4 апреля 1962 года в Доме кино прошла выставка художников нетрадиционного направления, входившей в моду студии Элигия Белютина.

Элигий (для своих Элий или Элик) Белютин – художник и коллекционер, профессор графики Полиграфического института, руководитель художественной студии в Москве, ценитель классики и одновременно отрицатель ее, наставник молодежи. Его отец, итальянец по имени Микеле, сын известного оперного дирижера Паоло Стефано Беллучи, по зову революции приехал в Москву строить новую жизнь и тут в 1921 году женился на москвичке, наследнице князей Курбатовых и художника Московской конторы Императорских театров Ивана Григорьевича Гринева. Обе семьи, как со стороны итальянского мужа, так и русской жены, – страстные коллекционеры и знатоки живописи. Микеле Беллучи, ставший Михаилом Белютиным, после революции приумножил доставшуюся ему в наследство коллекцию, скупал, где мог, конфискованные во дворцах картины, в том числе кисти Веронезе и Тициана, благо в деньгах он недостатка не испытывал. Его подпитывал итальянский папа, дирижер, подаривший ему по случаю рождения сына Элигия, «на зубок», полотно «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» кисти Джованни Батисты. В 1927 году Михаила Белютина расстреляли, но картины почему-то не конфисковали.

Элигий (это имя святого, покровителя ремесленников и художников) воевал в Отечественной войну, несмотря на прострелянное легкое и гангрену левой руки, остался жив и после победы стал художником. Вокруг него собрались «молодые», тоже недавние фронтовики, те, кто рисовал и лепил не так, как предписывали общепринятые тогда каноны.⁷³

Газеты о выставке не писали, но у Белютина перебивалась вся Москва. Надо сказать, что «неформальные» выставки проходили и ранее. В январе 1960 года Московский Союз художников в своем зале на Кузнецком Мосту организовал показ работ художника, известного портретиста Роберта Фалька, скульптора Эрнста Неизвестного (впоследствии – автор надгробия Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище), живописца «сурового стиля» Николая Андропова, а также Николая Пономарева, Мордвинова и многих других художников, не вписывавшихся в рамки официального искусства. Чуть раньше, в 1957 году, в Московском доме художника, а следом в парке Горького отдельно выставлялся «легендарный» Роберт

⁷³ Подробнее о Белютине см. «Москве не нужен Эль Греко», Московские новости, № 35, 10–16 сентября 2002.

Фальк, входивший в запрещенные в 1930-е годы к упоминанию группировки «Бубновый валет» (1910–1916) и «Мир искусств» (1898–1924). При Сталине он попал в опалу и вот теперь снова выплыл на поверхность. В 1958 году Фальк умер, но оставил после себя множество последователей и главное – почитателей. Не столько своего искусства, оно нравилось далеко не всем, сколько давно забытой «новизны», от которой посетители московских художественных галерей совсем отвыкли.

В декабре 1959 года, тоже в Московском Центральном доме художников состоялась посмертная выставка «крайнего формалиста» Д. П. Штернберга.

В ответ министр культуры Михайлов «просил ЦК КПСС дать необходимые указания, как Московскому Союзу художников, так и оргкомитету Союза художников РСФСР о решительном изменении характера выставочной деятельности Московской организации Союза художников (МОСХ)», как будто сам он такими правами не обладал. Просто не хотел вмешиваться. ЦК никаких «мер» не предпринял.

Фурцева, ставшая министром культуры в мае 1960 года, на модернистов не только не жаловалась, но патронировала их. Естественно, в определенных границах, стараясь не раздражать «академиков».

Такова предыстория, а теперь вернемся в осень 1962 года. В ноябре 1962 года студии Белютина устроили еще одну выставку в небольшом выставочном зале в районе Таганской площади в Москве, и тоже с согласия властей. Она вызвала еще больший резонанс, чем весенний показ в Доме кино. В западных газетах появились сообщения московских корреспондентов об успехе советских авангардистов, отходе от жестких канонов соцреализма.

В партийно-идеологическом ареопаге тоже происходили не очень заметные постороннему глазу, но хорошо различимые изнутри подвижки. Председатель образованной в ноябре 1962 года Идеологической комиссии при ЦК КПСС, секретарь ЦК Леонид Федорович Ильичев набирал силы. У Суслова, впервые после 1957 года, когда сошел со сцены Шепилов, появился конкурент. Пока скорее потенциальный, чем реальный, но...

Ильичев – маленький, кругленький, быстрый, как ртутный шарик, цепкий и инициативный, к тому же, в отличие от партийцев сусловского типа, он собирал живопись. На стенах его квартиры висели полотна не только в стиле соцреализма, но и картины, исполненные в куда более свободной манере, вплоть до откровенных абстракций. Такие вольности сусловцы расценивали как отступничество, западничество и даже обуржуазивание. Леонид Федорович все это знал, но не обращал особого внимания. Он вообще часто позволял увлечь себя настроению, даже если его поступки, как правило, безобидные, и противоречили образу, второго по значимости, охранителя идеологических и моральных устоев. Я уже писал, как, однажды, в Индонезии, Леонид Федорович пытался поймать какого-то мотылька. Вы можете себе представить Суслова с сачком, даже не на публике в чужой стране, а забором собственной дачи?

Во время той же поездки, когда по пути из Бирмы (с 1989 года – Мьянма) в Индонезию наш самолет пересекал экватор, Ильичев придумал и организовал праздник Нептуна. Он нацепил фальшивую бороду из швабры, на голову надел бумажную корону с блестками, на палку водрузил трезубец, и в таком виде предстал перед Хрущевым. В свиту Нептуна Леонид Федорович включил не только, с удовольствием ему подыгрывавших Сатюкова, Аджубея и Харламова, но и самого Андрея Андреевича Громыко. Последний даже нацепил на себя ярко красный спасательный жилет, но чувствовал себя в нем неудобно, натянуто улыбался, как бы извиняясь за такие непотребности. А вот Ильичев всем этим действием наслаждался. Отец тоже охотно включился в игру, подписывал шутовские удостоверения, поднес Нептуну стакан томатного сока и попросил разрешения лететь дальше. Нептун разрешил.

Отец благоволил Ильичеву, ему импонировала его живость, а еще больше – его энергия. Ильичев, царедворец до мозга костей, постоянно держался поблизости от отца. В отли-

чие от Суслова, сидевшего взаперти в своем кабинете, он не гнушался никакой работы, в том числе в редакционной группе, которая, как я уже писал, не только редактировала речи и выступления отца, но и, контактируя с ним, участвовала в выработке политических решений. В течение последнего года Ильичев существенно приблизился к отцу, тогда как Суслов оставался в отдалении. Неудивительно, что Суслов к Ильичеву относился с настороженностью, а теперь уже и со все нарастающей враждебностью, как к реальному и опасному конкуренту. Аджубей утверждал, что еще в 1961 году, сразу после XXII съезда, отец попытался избавиться от Суслова-идеолога, перевести его из секретарей ЦК на формальную должность председателя Президиума Верховного Совета, а Брежнева, тогдашнего председателя, вернуть к активной работе в ЦК. «Хрущев советовался на этот счет с Микояном, Косыгиным, Брежневым. Разговор они вели в воскресный день на даче, не стесняясь моего (Аджубей. – С. Х.) присутствия. Попросили Брежнева поговорить с Сусловым. Брежнев позвонил Суслову прямо с дачи и, вернувшись, сказал, что Суслов впал в истерику, умолял его не трогать».

Я такого никогда не слышал, но я не интересовался идеологическими интригами. Алексей Иванович же, напротив, очень интересовался.

Тем временем Леонид Федорович формировал свою собственную команду. К Ильичеву тяготел Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды». Человек от природы осторожный, он никогда не противоречил Суслову, но в душе предпочитал Ильичева. К тому же Сатюков, как и Леонид Федорович, любил живопись и собирал картины. Примыкал к Ильичеву и Аджубей, главный редактор «Известий», человек способный и, в силу своих родственных связей, независимый. Он при удобном случае любил исподтишка «вставить перо» Суслову и его команде, опубликовать, не спросившись у них, но, естественно, посоветовавшись с отцом, что-нибудь идеологически сомнительное, вроде отрывков из мемуаров Чарли Чаплина или очерка о Мэрилин Монро. Суслов, со своей стороны, от всей души ненавидел Алексея Ивановича. В живописи, искусстве Аджубей понимал мало, скорее ничего не понимал, но, подстраиваясь под Ильичева, тоже начал коллекционировать картины.

В окружение Ильичева перебегали из сусловского лагеря и другие «бойцы идеологического фронта», в том числе заведующий Отделом печати Министерства иностранных дел Харламов, председатель правления АПН Бурков. Поездив по заграницам, походив по тамошним музеям, узнав о существовании западного «нового» искусства, услышав о Кандинском и Шагале, «партийная молодежь» исподволь, негласно начинала покровительствовать и нашим модернистам.

После ноябрьского Пленума ЦК 1962 года еще одним секретарем ЦК стал Юрий Владимирович Андропов, не чистый «идеолог», но в силу своего служебного положения «связного» с социалистическими странами, человек к идеологам близкий. Он, как и Ильичев, ценил живопись, разбирался в ней на уровне дилетанта, не чурался модернизма и даже сам пописывал стихи. В противоположность эмоциональному Ильичеву, Андропов всегда просчитывал свои политические ходы далеко вперед. Поддерживать ниспровергателей традиционного искусства Андропов не спешил. В 1956 году он работал послом в Венгрии, и на его глазах «Кружок Петефи» из безобидного литературного объединения быстро превратился в центр не только идеологического, но и вооруженного противостояния власти. Повторения венгерского опыта в нашей стране Андропов, естественно, не желал, к молодым и самоуверенным провозвестникам модернизма относился с осторожностью: давить их не стоит, но и воли давать им тоже ни в коем случае нельзя. К Суслову он относился без симпатий, насмотрелся на него еще в 1956 году в Венгрии, но и в споры с ним никогда не вступал, даже когда последний слишком уж вмешивался в дела его, «андроповских», стран социалистического лагеря.

К осени 1962 года творческая Москва достаточно четко разделилась на два лагеря. «Модернисты» и в живописи, и в скульптуре, и в литературе, и в музыке кучковались вокруг

цековской «молодежи», рассчитывали под их прикрытием прибрать к своим рукам творческие союзы, покончить с отжившим, давно омертвевшим, по их собственному и потому «неоспоримому» мнению, классически-традиционным искусством, заменить «бездарные» произведения «традиционалистов» на свои собственные «гениальные» творения.

Ничего нового тут нет, подобная борьба происходила всегда и везде, и в Древней Греции, и в Европе, от Ренессанса до импрессионизма. Вспомним хотя бы ситуацию в России начала XX века: тогда футуристы братья Бурлюки, Бенедикт Лифшиц, молодой Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и им подобные – талантливые и бездарные, самоуверенные и нахальные, отслеживая приходящие «оттуда» новации, подражая Пабло Пикассо и Гийому Аполлинеру, бросились ниспровергать тогдашних «традиционалистов», от Ильи Репина до Александра Пушкина.

В 1930-е годы «новые традиционалисты», социалистические реалисты, с помощью товарища Сталина взяли верх. К сожалению, несогласных по-сталински кроваво не просто отлучали от искусства, многих отлучили и от жизни.

Теперь все повторялось заново. Модернисты набирали силу и популярность. Ильичев в «модернизме» не видел никакой угрозы политической власти, ему кое-кто из них просто нравился, Аджубей, человек увлекающийся, просто «догонял» Запад, но не как отец, по производству мяса строительству квартир, а в живописи и музыке. Осторожный Сатюков держался где-то посередине. Цековская «молодежь», следуя моде, поддерживала «модернистов», но никто ни на кого из них не ставил, и ставить среди них было не на кого. Захват власти в искусстве «модернистами» им не сулил никаких политических дивидендов, так же, как они не теряли ничего и от победы «традиционалистов».

«Традиционалисты» не собирались сдавать позиции без боя. Они полагались на пока еще главного идеолога страны Суслова. И тем и другим было что терять. В руках «традиционалистов» находилась вся власть в искусстве, они возглавляли союзы: писательский, музыкальный, художественный, киношный, а это и заказы, и тиражи с гонорарами, и премии. В своей правоте они не сомневались ни на минуту – вся эта «модернистская блажь» не искусство, а эпатаж. Их поведение ничем не отличалось от поведения предшественников – традиционалистов французских, немецких и российских начала XX века. С одной лишь разницей – тогда успех, в том числе и материальный, зависел от публики, она могла прийти или не прийти на выставку, купить или не купить картину, скульптуру, книгу. Теперь же, в условиях централизованного государства, практически единственного располагавшего настоящими средствами покупателя и издателя, от него зависело, у кого купить картину, а кому отказать, кого издавать, а кого попридержать. Руководители союзов выступали в роли представителей покупателя-государства, его агентов – литературных, художественных, музыкальных и всех прочих. Они, по сути, вершили все дела: писали заключения, отбирали произведения для выставок, составляли каталоги, определяли тиражи, естественно, не забывая о себе. Государственные чиновники следовали их рекомендациям, подписывали счета в пределах отпущенной на «творческие дела» сметы.

Оппоненты из «молодежи» обвиняли государство в лице Хрущева, Суслова, Ильичева и руководителей союзов в косности, отсутствии вкуса, тупости, настаивали, чтобы их произведения немедленно купили, опубликовали, выставили, показали в театрах и кинозалах.

Представители творческой интеллигенции, неважно «традиционалисты» или «модернисты», не просто отстаивали свое понимание искусства, не просто боролись за власть, они стремились наложить лапу на финансы, деньги, по тем временам весьма немалые.

И «старика», и «молодые» вели себя как пауки в банке. Проще всего разрядить противоречие так: открыть банку, выпустить всех пауков на вольные хлеба и забыть о них. Пусть сами едят, сами публикуют и дерутся между собой в свое удовольствие. Но «поэт в России – больше, чем поэт», в этом не сомневались ни сами поэты, ни государственные чиновники.

Государство опасалось поэтов, поэты побаивались государства, но жить друг без друга не могли ни те ни другие. Государство заталкивало пауков назад в банку, призывало их жить там дружно, по возможности не кусаться, а уж особенно, не кусать «руку дающую». За инакомыслие уже не сажали, но единственный покупатель – государство, естественно, подлаживал поставщиков под свои вкусы. Те же противились, как могли и сколько могли.

И «молодые», и «старики» то и дело апеллировали к отцу, первые шли за поддержкой, вторые призывали защитить моральные устои. Игнорировать борения страстей отец не мог, не имел такого права, – «поэт в России – больше, чем поэт». Поэт-политик или политик-художник, сам того не желая и не замечая, становится в первую очередь политиком, начинает играть на «чужом» поле. Волей-неволей отцу то и дело приходилось отрываться от важных для него экономических и всяких иных дел и вмешиваться в чуждые ему склоки. В предыдущих главах-отступлениях я уже обращался к теме «судейства», описывал и встречи с писателями на природе, и совещания с «творческой интеллигенцией» в ЦК. Проходили они с переменным успехом для обеих сторон. Политика в искусстве не должна строиться на собственных пристрастиях. С другой стороны, все мы люди...

Условия жизни, в которых формировалась личность отца, его вкус, тяготели к «традиционалистам». Его не затронуло новаторство 1920-х и начала 1930-х годов, он помнил желтую кофту Маяковского, футуристов и других ниспровергателей, но в его душе их творчество с искусством не ассоциировалось. Отцу нравились полотна художников-реалистов от Рембрандта до Репина, он любил стихи Некрасова и Твардовского, с удовольствием читал прозу Лескова и Шолохова, слушал музыку Моцарта и украинские народные напевы. Новомодные «штучки» вызывали у него неприятие. Ни джаз, ни абстрактную живопись со скульптурой он не воспринимал и не понимал. «Новаторские изыскания» оставались для него чуждыми извращениями, наравне со всеми иными извращениями человеческой природы.

Такое восприятие искусства – естественно для большинства людей, нам нравится то, к чему мы привыкли с детства, с младых ногтей. Только это для нас «настоящее». Я, теперь тоже человек отнюдь не молодой, тоже не жалею «новомодные» для меня течения в искусстве, не слушаю, попросту игнорирую, ни рэп, ни тяжелый рок, ни даже Битлов. Для меня они не существуют. Меня вполне устраивают Бах и Вивальди, Моцарт и Бетховен, Чайковский и Рахманинов. А в живописи предпочитаю реалиста А. И. Лактионова символисту П. Н. Филонову. В те давние годы я, как и большинство «технарей», чуть фрондировал, пытался убедить себя в необходимости понять и полюбить новомодные течения в искусстве, но не понял и не полюбил. Я почитал Пикассо – коммуниста, но не воспринимал человеческие и иные фигуры, изломанные до неузнаваемости воображением художника. Мне они казались безобразными, такую картину я бы у себя ни за что не повесил. В книжках я вычитал, что согласно медицинским исследованиям, дело тут не во вкусах и пристрастиях, а в психофизиологии, многим из известных художников нетрадиционной ориентации, как-то Гогену или Пикассо, в силу отклонений сознания внешний вид представлялся именно таким, каким они его рисовали. Но тут я забираюсь в дебри, откуда мне не выбраться. «Черный квадрат» Казимира Малевича (мы только что узнали о его существовании) в моем понимании олицетворял собой умышленное издевательство над так называемым художественным вкусом. Невольно припоминается «Сказка о голом короле» Андерсена.

Я очень страдал от своего «невежества», но ничего не мог с собой поделать. Своими вкусами и пристрастиями я мало чем отличался от отца. Но, в отличие от отца, я не политик. Он не мог переключить свой «радиоприемник» на иную волну, отключиться от реалий окружавшего его мира. Одни просили помочь протолкнуть «непроходные» произведения, другие призывали оградить наше искусство от тлетворного инакомыслия, и все спрашивали его мнение, мнение о последнем романе, кинофильме, симфонии. Так уж их приучили, мнение первого лица государства перевешивало все остальные мнения вместе взятые. Так было

при императоре, тех же порядков придерживался и Сталин. Теперь им унаследовал Хрущев. Все требовали его суда, и отец судил, не мог не судить, выносил приговоры, но руководствуясь одним, выбранным им самим, критерием политической целесообразности. От всего остального он, по возможности, отрешивался. Именно исходя из политических, а не художественных мотивов отец поддержал «Синюю тетрадь» Казакевича, и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, и «Наследников Сталина» Евтушенко. В остальном пусть разбираются сами. Помню, как барственный «царедворец» актер и режиссер Николай Охлопков, когда отец приходил к нему в театр имени Маяковского, допытывался в антрактах, что ему понравилось в спектакле, а что нет. Отец отшучивался, уходя от прямого ответа, отдевался обиходными любезностями.

До поры до времени, пока дело шло о распрях в творческих Союзах и не затрагивало интересы надзиравших над ними партийных органов, интересы самого Суслова и его ближайшего окружения, его тактика, хотя и не без осечек, срабатывала. К 1962 году обстановка переменилась, опасность ощутили не только руководители союзов и иже с ними, но и Суслов со своими единомышленниками. И исходила она от «молодежи», «молодежи» в искусстве и «молодежи» в политике. К отражению «атаки» готовились сообща и со всей тщательностью, «молодые» – противник серьезный. Инициатива и замысел «операции», по всей видимости, принадлежали Суслову и его ближайшему окружению. Конечно, никто Суслова за руку не поймал и не поймают, профессионалы в таких делах следов не оставляют. Но попробуем восстановить логику событий.

Солженицын, Евтушенко, вызвавшая общемосковский ажиотаж выставка абстракционистов-«белютинцев», разговор Хрущева с Твардовским, неминуемая отмена цензуры, а значит и их контроля над всем и вся, не просто положительные, но откровенно хвалебные радиопередачи и статьи о «модернистах» в «Известиях», в «Советской культуре», в журнале «Советский Союз». Все это с явного одобрения цековской «молодежи» и лично Ильичева!

Власть еще не ускользнула, но уже ускользала из их рук, из рук Суслова – политическая и идеологическая, вся иная – из рук руководителей творческих союзов. Чтобы ее удержать, следовало действовать, и немедленно – но осторожно. Прямая апелляция к Хрущеву, Суслов понимал обстановку в ЦК лучше других, ни к чему не приведет. Эти Ильичевы, Сатюковы, Аджубеи тут же всё растолкуют в таком свете, что его реакция может оказаться очень далекой от ожидаемой. Действовать надо так, чтобы ни Хрущев, ни его окружение ни о чем не догадались, действовать руками Хрущева, но так, чтобы он не ощутил, что им манипулируют.

Интригу закручивали вокруг сталинских репрессий и их жертв – темы, постоянно волновавшей и беспокоившей отца. Разоблачая преступления Сталина, освобождая политических заключенных и высвобождая мысль из прокрустова ложа сталинизма, он постоянно опасался, как бы не утратить контроль, как бы оттепель «не превратилась в половодье, которое захлестнет нас, с которым не справиться».

Скорее всего – это изобретение самого Суслова. Не только в силу иезуитской изощренности ума, но вряд ли у кого-либо рангом пониже достало смелости играть в такие игры с Хрущевым.

Весь 1962 год идеологи из ЦК и творческих Союзов методично бомбардировали отца записками, разъяснявшими, что «модернизм» – совсем не так безобиден, как представляется на первый взгляд, как его преподносят потакающие ревизионистам, неопытные, не прошедшие школы настоящей борьбы, молодые идеологические работники, вчерашние мальчишки. На самом деле – это не борьба направлений в искусстве, а тщательно спланированная за рубежом политическая акция против нашего строя, против нашего государства. Не зря западные журналисты и дипломаты так и выются вокруг «модернистов». В последнем несо-

мненно есть доля правды. Не только Ильичев поддерживал «модернистов», но и ЦРУ имело на них виды, все-таки мир жил в условиях холодной войны. В одной из последних записок разъяснялось, что деятельность «модернистов» мотивирована не искусством, а их ненавистью к советской власти. Их родители, другие близкие пострадали при Сталине, попали в заключение, многие погибли, вот они и перенесли свою боль и обиду с тирана на весь советский строй, на всю советскую страну. Дальше следовал внушительный список по алфавиту: набиравший популярность писатель Василий Аксенов: отец расстрелян, мать провела полжизни в лагерях; отец Евтушенко тоже расстрелян; о Солженицыне и говорить нечего. И так фамилия за фамилией. Получилось и внушительно, и убедительно. Суслов и его единомышленники понимали, одного списка недостаточно, но с чего-то надо начинать.

Отец прочитал донос и отложил его в сторону. Сколько таких и еще похлеще, бумажонек он перечитал за свою жизнь. Бессчетные тома. В каждой семье найдется кто-то, если не отец, то дядя или тетя, племянник или сын, пострадавший от Сталина. Если мы всех их запишем во враги советской власти?... Но и проигнорировать предупреждение он тоже не решался. Как и Андропов, отец помнил – в Венгрии все начиналось с внешне безобидного «кружка Петефи». К тому же не имелось ни малейшего основания не верить авторам докладной. Они тоже пекутся о процветании нашего государства. Возможно, на свой лад, но всех под одну гребенку не причешешь. Докладная, хотя он и отложил ее подальше, на угол стола, отложились в памяти отца.

На это авторы и рассчитывали. Вслед за этой запиской на отца из различных источников посыпалась бьющая в точку информация о «неправильном» поведении поэтов, писателей, художников. Докладывали о все нарастающей активности западных журналистов, о настоящей вакханалии западных дипломатов и прочих деятелей различного толка вокруг ничем не примечательной, кроме ее нетрадиционности (художественной или политической?), выставки белютинцев на Таганке. Тут, как нельзя кстати, подвернулась открывшаяся осенью в Манеже художественная, не полуподпольная, а вполне respectable официальная выставка, посвященная 30-летию МОСХа, организации московских художников. На выставку, с молчаливого одобрения Ильичева и Фурцевой, «пробрались» неформалы. Наравне с другими там развесили работы уже упоминавшегося мною Фалька и еще некоторых других, казалось бы, давно забытых возмутителей художественного спокойствия. Более того, в «Неделе», приложении к «Известиям», как и в самой газете, напечатали несколько позитивных рецензий на выставку. В них авторы тепло отзывались о полотнах «модернистов». Отец эти статьи не прочел, а вот Ильичеву они понравились, о чем он не преминул сообщить по телефону Аджубею. Руководители Союза художников заволновались. МОСХ прислал приглашение отцу, они надеялись продемонстрировать Хрущеву все эти «модернистские безобразия», раскрыть глаза и заполучить его себе в союзники. Он не отреагировал, так как был очень занят: Пленум, перестройка управления, да и Кубинский кризис еще не до конца улажен, в общем, не до картин. Тогда «группа художников», предварительно посоветовавшись с Поликарповым, а тот в свою очередь утряс вопрос с Сусловым, направила в адрес отца возмущенное письмо, и по форме, и по содержанию, – типичный донос в стиле тридцатых годов. Поликарпов слыл докой в таких делах, Сталин «посадил его на творческую интеллигенцию» еще в 1939 году, и он пересидел на своем посту, правда с перерывами, и Жданова, и Шепилова; надеялся пересидеть и Суслова. В ЦК получили письмо в дни заседаний Пленума, когда Твардовский наслаждался оглушительным успехом «Ивана Денисовича».

Авторы письма предупреждали об угрозе «проникновения буржуазной идеологии в наше общество... оживления сил, стремившихся разложить на протяжении ряда лет нашу идеологию изнутри через кино, телевидение, литературу, музыку, живопись, туризм и др.»

«Др.» тут совершенно излишне, они перечислили все, что мыслимо и немыслимо.

«Эти силы перешли сейчас в открытое наступление, совершенно снимают вопрос революционных русских традиций (ну и корявая же фраза. — С. Х.), проповедь формализма сочетают с нигилизмом, огрублением формы и аскетизмом, и все это направлено против красоты и жизненной правды в искусстве.

Глашатаи формализма используют параграф (из Программы КПСС. — С. Х.) о “Свободе почерков” в целях утверждения гегемонии одного почерка, утверждая самоцель формы, говоря, что форма в “высоком” состоянии становится содержанием».

Обвинив устроителей выставки в Манеже в потворстве проникновению буржуазной идеологии и разложению советской морали через экспонирование полотен Фалька, а «Неделю» в благорасположении уже к устроителям, авторы зывали ЦК к защите наших моральных устоев, к отлучению формалистов от советского искусства.

В конце они ссылались на высказывания Ленина и решения партии в поддержку реалистического искусства и патетически «просили сказать, что же устарело в этих решениях. Если же они не устарели, то подобные, направленные против них, выступления в печати, по радио и телевидению необходимо рассматривать как ревизионистские, способствующие проникновению чуждой нам идеологии». Под письмом стояло более сорока подписей.

Как и договорились, письмо попало к Поликарпову, от него к Суслову, а уж он побежал к Хрущеву «советоваться». Михаил Андреевич высказал очень серьезные опасения, не забыл упомянуть о «кружке Петефи» и настоял на обсуждении письма «сорока» на ближайшем, намеченном на 29 ноября Президиуме ЦК, посвященном ничему не имевшему с «проникновением буржуазной идеологии» вопросу «реализации решений Ноябрьского Пленума ЦК КПСС» о реорганизации структуры управления народным хозяйством. Жалобу художников включили дополнительным пунктом в уже сверстанную повестку дня многочасового заседания. Когда подошло время рассмотрения жалобы, отец устал. Доложил Сулов. Хрущев согласился: «Проникновение формализма в живопись недопустимо, а “Известия” и “Неделя” допустили крупные ошибки в освещении этих вопросов», — произнес резкие слова в адрес вызванного на заседание Аджубея и «похвалил т. Суслова». Повторю, что опубликованных в «Неделе» и «Известиях» статей отец не видел, этот раздел он обычно не читал, а небрежно пролистывал. Другие выступавшие, их набралось по опубликованному списку девять человек, вторили Сулову, вернее, теперь уже поддержавшему его Хрущеву. Решили: «с выставками разобраться», а если потребуется, то принять меры по жестче. Запись обсуждения уложилась в очень важные для Суслова тринадцать неполных строк.

После письма, по мнению «заговорщиков», я сомневался, называть их так или нет, и решил назвать, Хрущев «дозрел», оставалось только подтолкнуть его в нужном направлении. Посещение выставки в Манеже могло дать столь нужный им толчок, работы модернистов отцу наверняка не понравятся, а уж остальное — дело техники. Они даже осторожно довели до сведения отца, что дело тут не только в различии художественного видения, модернисты страдают чисто физиологическими отклонениями от нормы, в частности все они, почти поголовно, гомосексуалисты, что могло быть то ли правдой, то ли неполной правдой, то ли измышлением. Это сейчас однополый любовью никого не удивишь, а тогда она не только делала человека изгоем, вспомним хотя бы трагедию композитора Петра Ильича Чайковского, но и влекла за собой уголовное наказание. При Сталине за нее расстреливали, при Хрущеве сажали на десять лет в тюрьму. Информация на отца произвела нужное впечатление, становилось понятно, в чем тут дело, формализм в искусстве — симптом физического нездоровья.

Теперь оставалось завлечь Хрущева на выставку, а он все тянул и тянул. Несклонный к посещению выставок Сулов, обычно его приходилось тащить на аркане на подобные мероприятия, на сей раз настойчиво-вкрадчиво советовал не обижать «москвичей», уделить им

вечерок. Отец соглашался: на выставку надо сходить, вот только когда? Все дни расписаны до минуты.

30 ноября 1962 года отец побывал в Большом театре, там гастролировал Киевский оперный театр, давали оперу украинского композитора, основоположника национальной школы по композиции Миколы Лысенко «Тарас Бульба». Товарищ его юности, а ныне заместитель председателя Украинского правительства Иван Семенович Сенин уговорил, да и голоса в Киевской опере отменные. Как обычно, отец пригласил с собой «всех желающих». Кроме гостей-украинцев, Брежнева, Подгорного, Полянского, как и отец, любивших малороссийские напевы, на спектакль пошел и Суслов. Там он вновь попенял отцу: для Киевской оперы время нашлось, а вот московские художники... Отец смутился и ответил, что готов идти в Манеж хоть завтра.

В тот же вечер, 30 ноября 1962 года, в Лужниках, в единственном в Москве крытом хоккейном ледяном стадионе и одновременно самом большом концертном зале, выступали молодые поэты: Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский, Вознесенский.

Обычно они читали свои стихи в большом зале Политехнического музея, но он не мог вместить всех желающих. Даже здесь, на стадионе, не хватило мест. Люди сидели на ступеньках, толпились в проходах. Поэтов встречали и провожали валом аплодисментов, громкими выкриками.

В Пушкинском музее, освобожденном от подарков Сталину, в эти дни заканчивались приготовления к открытию выставки французского художника-коммуниста, но отнюдь не «традиционалиста» Фернана Леже. Картины в Москву по приглашению Фурцевой привезла его вдова Надя.

В Манеже готовились к приему отца. Если классикам революционного авангардного искусства, как уже упомянутый мною Фальк и иже с ним в экспозиции выставки представили место, иначе какое без них пятидесятилетие МОСХа, то современными «модернистами» в Манеже и не пахло. Заправлявшие в Союзе художников «традиционалисты» их близко не подпускали к престижным выставочным залам. Сейчас же срочно, а вдруг отец действительно придет на следующий день, их работы потребовали привезти и той же ночью расставить, развесить, да так, чтобы они произвели ожидаемое впечатление, вызвали нужную устроителям реакцию, в идеальном случае – скандал.

На следующее утро на стол отцу легли биографические справки на неформалов, вернее очередной донос. Отец проглядел его не вчитываясь, но основное запомнилось: идеологически эти художники не с нами, точнее, они против нас.

В Манеже в тот «знаменательный» день я, естественно, не присутствовал, как обычно сидел на работе, занимался своими каждодневными ракетными делами. Для восстановления внутренней логики событий я использовал опубликованную стенографическую запись всего там происходившего и непосредственные впечатления участников.

О Манеже и последовавших за ним разборательствах кто только не писал, но все больше информация из «третьих рук». Из всего мною прочитанного и слышанного только рассказы скульптора Эрнста Неизвестного, художника Элигия Белютина, поэта Андрея Вознесенского и кинорежиссера Михаила Ромма относятся к реальным свидетельствам людей, присутствовавших там и изложивших свои впечатления более-менее связно. Но даже тут следует проявить осторожность. Впечатления впечатлениям рознь. Люди творческие обладают богатым воображением, склонностью подменять реалии своими фантазиями, в которые они вскоре начинают и сами верить. Так уж они устроены, иначе они бы ничего путного в искусстве не сотворили.

Так что при попытке реконструкции реальной истории «творческие» свидетельства часто наводят тень на плетень. По «творческим» соображениям я сразу исключил из «очевидцев» Эрнста Неизвестного. С ним я хорошо знаком. Неизвестный – автор черно-белого

надгробия на могиле отца, и за время работы над памятником и треволений вокруг его установки я наслушался скульптора вдоволь. Парадокс Неизвестного заключается в том, что он не рассказывает о событиях, а «сочиняет» их. И эти его сочинения превращаются в реальность сначала для него самого, а затем и для окружающих. Чего стоят его устные, а затем и напечатанные рассказы о создании очень знаменитым московским художником, кем — я теперь забыл, погрудного портрета монгольского маршала Чойбалсана или история приготовления во Владивостоке — главной базе Тихоокеанского флота к визиту того же Чойбалсана. Смешно, захватываяще, однако отделить правду от вымысла абсолютно невозможно. Я ни в малой степени не обвиняю Эрнста во лжи, но и к реальности эти истории отношения не имеют.

К примеру, Эрнст Иосифович убеждает слушателей (и, наверное, убежден сам), что после отставки Хрущева они встречались на даче последнего в Петрово-Дальнем, хорошо поговорили, взаимно извинились, и Никита Сергеевич завещал ему возвести надгробие над своей могилой. Хорошая история. Мне она нравится, вот только ничего такого не происходило, и в Петрово-Дальнее Неизвестный не приезжал, и с Хрущевым не беседовал, и завещания о будущем надгробии не существовало.

В очень интересной книге воспоминаний писателя и врача Юлия Крелина я прочитал, как Неизвестный, рассказывая за столом в ресторане Дома литераторов о нашей с ним первой встрече (я тогда к нему пришел с Серго Микояном поговорить, не возьмется ли он за надгробие отцу), Эрнст вдруг ляпнул: «Столько антисоветчины (как от меня с Серго. — С. Х.) я еще ни от кого не слышал!»

В его устах это, несомненно, похвала, но истине она не соответствует ни на йоту. Во-первых, я ни тогда не придерживался, ни сейчас не придерживаюсь антисоветских взглядов. Я — человек советский, хотя, естественно, не всё и не всегда вызывало мое одобрение. Насколько я знаю, Серго, по крайней мере в то время, воззрениями от меня не отличался. Во-вторых, мы пришли по делу к человеку, которого видели в первый раз в жизни, пусть авангардистскому художнику, но, по слухам, не чуравшегося органов. И вдруг, вместо разговора по существу начинаем честить советскую власть? Глупость! Однако Неизвестному в результате флуктуации собственного подсознания все представилось именно так. Если бы речь шла не обо мне, и я бы не усомнился в его словах.

Другая история. В 1973–1974 годах, пока мы добивались разрешения на установку надгробия отцу, брежневское руководство всласть покуражилось над нами. Наконец все позади, в 1975 году, солнечным сентябрьским днем, привстав на деревянном ящике, Эрнст водрузил бронзовую, под золото, голову отца на отведенное ей место. Я передал Неизвестному обусловленный гонорар. Отметить событие он предложил в «Национале». Мы погрузились в мои «Жигули» и покатили к центру.

Внутренне считая себя не вправе брать деньги за надгробие Хрущеву, Неизвестный якобы приоткрыл в машине ветровик и, вынимая из пачки десятку за десяткой, выпускал их наружу, как бы раздавая «бедным». Рассказ Неизвестного логичен, в меру благороден и мне, в общем-то, приятен. Одна беда — реальности он не соответствует. Воспоминания Эрнста Иосифовича — это скорее художественная литература. Положиться на них я никак не могу.

Рассказы поэта Андрея Андреевича Вознесенского тоже не вызывают у меня полного доверия. Но тут совсем иная история. Андрей Андреевич, по стечению обстоятельств, попал в самый эпицентр политической бури, что, естественно, не могло не сказаться на впечатлительной психике поэта, он больше говорит о собственном ощущении происходившего, чем о фактах.

Перебрав все доступные мне свидетельства, я выбрал в «экскурсоводы» по Манежу и по последовавшим за ним событиями художника Элигия Белютина, руководителя студии,

где кучковались и набирались мастерства модернисты всех мастей, и кинорежиссера Михаила Ромма, прекрасного и ироничного рассказчика.

Естественно, я не ограничусь только ими, время от времени буду обращаться и к собственной памяти, так как присутствовал на одном, а возможно и двух разбирательствах, происходивших в Доме приемов на Воробьевых горах, а также к стенограмме высказываний на выставке МОСХа в Манеже 1 декабря 1962 года, к записям выступлений отца и его мемуарам, к воспоминаниям Бориса Жутовского, одного из героев того дня в Манеже, к эпизодическим свидетельствам других участников тех трагикомических событий.

Итак, в Большом театре, 30 ноября 1962 года, отец принял приглашение Суслова посетить художественную выставку в Манеже, но день и час не уточнил, неопределенно произнес: «Хоть завтра». Машина завертелась, Суслов приказал изготавиться к 1 декабря 1962 года.

«Вечером 30 ноября я снял трубку зазвонившего телефона, – рассказывает Белютин, – голос Поликарпова, заведующего Отделом культуры ЦК партии и члена ЦК, был просителем, он говорил об одолжении и взывал к моей любезности.

– Элий Михайлович, я пришлю вам товарищей, они вам помогут, – убеждал телефон.

– Собрать картины за несколько часов нельзя, – отвечал я.

– Хотелось бы, чтобы вы вместе со всеми показали в Манеже ваши работы, – настаивал телефон.

– А какие именно? – спросил я.

– Те же, которые выставлялись на Таганской выставке, – пояснил телефон. И добавил: – Наверное, их будут смотреть руководители партии и правительства.

Снова зазвонил телефон, и голос скульптора Э. Неизвестного, “самого левого среди правых”, как его называли в Москве, человека предельно осторожного (“Да поймите же, у меня ребенок!”), испуганно спросил, что ему делать.

– Это либо провокация, либо признание, – сказал я. – В последнее верить трудно, но отказать невозможно, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл взять работы более спокойные.

Еще утром, развернув газету “Правда”, я прочел, что состоялось первое заседание Идеологической комиссии, а через своих учеников узнал, что разговор там шел о нас. И разговор положительный.

Ночью, когда мы развешивали картины, приехала министр культуры Фурцева и, протянув мне руку, сказала: “Какой вы славный, Белютин”. Ведь она еще не знала, как все обернется. Все было впереди».

Напомню, в Идеологической комиссии председательствовал Секретарь ЦК Ильичев. Первое заседание после Пленума ЦК – очень важное, установочное, задающее тон на будущее. И тон этот уловил не только Белютин, проинформировали о происшедшем и Суслова.

1 декабря отцу на выставку идти не хотелось, давило все: усталость, папки бумаг, скопившиеся на столе, необходимость искать нужный тон с взбрыкнувшим Фиделем Кастро, китайцы с их крикливыми обвинениями в ревизионизме и капитулянтстве перед США, сведения из регионов – урожай снова собрали далеко не тот, что ожидали. Какие тут развлечения? Какая выставка? Даже вчерашняя опера не доставила удовольствия.

Но давил и Суслов. Давил с самого утра, вкрадчиво: «Вы же обещали. Художники вас ждут. Неудобно». Отец отнекивался, но ко второй половине дня сдался. Он действительно почувствовал неудобство, он же пообещал.

– Ладно, раз обещали, надо слово держать, – ответил отец Лебедеву, напомнившему, что Суслов ждет решения, – обзвоните всех, у кого есть время и охота, и пригласите на выставку.

Время и охота нашлись у всех членов Президиума ЦК. На выставку кроме отца поехали Суслов, Кириленко, Косыгин, Полянский, Ильичев. Микоян отсутствовал, он еще не вер-

нулся с Кубы, а Брежнев и Козлов гостили на съездах зарубежных компартий, кажется, в Чехословакии и Италии. К старикам присоединилась «молодежь»: Леонид Николаевич Ефремов, на последнем Пленуме избранный кандидатом в члены Президиума ЦК и только что ставшие секретарями ЦК Поляков, Рудаков и Шелепин.

Перед отъездом Суслов зашел к отцу в кабинет и сообщил «новость»: московские художники решили показать работы «модернистов».

– Зачем это? – отец вопросительно взглянул на Суслова. – Что они еще затеяли?

– Вы помните, Никита Сергеевич, письмо художников, которое мы обсуждали недавно, и Отдел культуры докладывал, – заюлил Суслов, – молодые люди, обиженные на Советскую власть, их родителей репрессировали, попали под влияние западной пропаганды, группируются вокруг некоего Белютина, к слову, выходца из Италии. Они отрицают всё и вся. Свою мазню выдают за авангардистское искусство, смущают молодежь. Обстановка складывается крайне неприятная. К тому же, – Суслов замялся, – они, сами знаете... Вам тоже докладывали... Надо вам посмотреть на их «художества» своими глазами и дать партийную оценку.

Отец нахмурился, он собрался на выставку, а ему подсовывают... Однако все уже оповещены. Отец с недовольной миной на лице открыл дверь кабинета и пошел к лифту. Суслов следовал за ним.

У входа в Манеж высокое начальство встречал первый секретарь правления Союза художников Владимир Александрович Серов, человек лично близкий Суслову, рядом выстроились Поликарпов, Сатюков, Аджубей и другие начальники среднего ранга. Чуть поодаль цепочка милиционеров сдерживала небольшую толпу, доступ в Манеж перекрыли еще днем. Отсутствовала министр культуры Фурцева, хотя Манеж относился к ее ведомству. Лебедев ей не звонил, потому что отец ему поручил оповестить цековское начальство, членов Президиума и секретарей ЦК. Суслов с Поликарповым не предупредили ее умышленно. По их раскладу, она входила во враждебный лагерь, вопреки им пробила выставку сомнительного француза Леже. И здесь «беспардонная» Екатерина Алексеевна могла вмешаться некстати, выступить в поддержку модернистов, перетянуть Хрущева на свою сторону. О посещении Манежа ей, конечно, сообщат, но с запозданием, когда все уже пройдут внутрь, пока она вызовет машину...

– Ну что ж, показывайте свое богатство, – покончив с рукопожатиями, обернулся к Серову Хрущев.

Серов повел всех по залам Манежа. В каждом «закутке» высоких гостей ожидали авторы. Отец знал их в лица по предыдущим выставкам, узнавал и их картины, кочевавшие с выставки на выставку. Все шло как обычно.

Ильичев о затее Суслова ничего не знал. О том, что на втором этаже Манежа собрали произведения художников-модернистов, ему сказали только в Манеже. Предпринять что-либо он уже не мог. Даже подойти к отцу перемолвиться парой слов не получалось, вокруг бурлила толпа, художники, один сменяя другого, взахлеб хвалили свои произведения. В одном из последних закутков оказалось неожиданно пустынно, авторы у картин не стояли и картины казались очень уж непривычными. Здесь представлялись работы художников-авангардистов революционной и ранней постреволюционной поры. Серов подвел Хрущева к картине Роберта Фалька, судя по названию, изображавшей обнаженную женщину. Отец внимательно всматривался в полотно, стараясь понять, что там нарисовано, но так и не понял. По его мнению, картину можно было назвать как угодно, лучше и понятнее она бы от этого не стала. Отец не сдержался и отпустил в адрес автора пару нелестных замечаний. Фальку они уже были безразличны, он умер три года тому назад.

В этот момент в закутке появилась запыхавшаяся Фурцева. Позже она говорила, что опоздала на полчаса, но, скорее всего, поболее, осмотр работ «традиционалистов» занял

около часа. Любопытно, что стенографическая запись того, что говорилось в Манеже, тоже начинается с картин Фалька.

Интересно, кто вообще организовал стенографирование в Манеже? При посещении выставок стенографистки отца не сопровождали, записи того, что им казалось интересным, делали участники показа: журналисты и чиновники ведомств, представлявших экспонаты.

Вызвать личную стенографистку Хрущева, кроме него самого, могли только Суслов или Лебедев. Скорее всего, это сделал Михаил Андреевич. Он же указал момент, с которого следовало начинать записывать. Суслову требовался документ, подтверждавший поддержку Хрущевым его позиции. Документ, позволявший ему поставить на место всех этих Ильичевых-Аджубеев. В случае, конечно, если все пойдет, как задумывалось. Если же «операция» сорвется, то стенограмма ляжет на полку в Отделе культуры, и дело с концом. Приведенные дальше высказывания участников обсуждения я привожу по этой, сохранившейся в архиве, стенограмме.

– Это извращение, это ненормально. Я хотел бы спросить, с женой живут авторы этих произведений или нет? – возмущался отец, глядя на полотно Фалька.

Суслов заулыбался, информация о сексуальной извращенности художников-модернистов Хрущеву запомнилась, и, что важнее, этим он объяснял себе их «ненормальную» манеру письма.

– Я, как Председатель Совета Министров, ни копейки не заплачу за этот хлам, а если кто ослушается, того накажем, – произнес отец с угрозой.

Кто еще, кроме государства, государственных музеев мог купить произведения художников? Частные коллекционеры? Но их в Москве раз-два и обчелся. Так что художники полностью зависели от государства, и угроза звучала очень серьезно.

– Между прочим, – продолжал отец, – группа художников написала мне письмо, и я на него бурно отреагировал (на заседании Президиума ЦК. – С. Х.). Говорили, что «Неделя» поместила какие-то репродукции. Я их посмотрел (после заседания. – С. Х.) и не нашел ничего страшного. У меня свое мнение есть, своего горячего достаточно и подбавлять его мне не стоит.

Последние слова Суслов принял на свой счет и улыбаться перестал.

– Я бы сказал тем людям, которые не рисуют, а мажут свои картины, что мы, господа, видимо не доросли до понимания вашего искусства, – отец сделал упор на слове «господа» неслучайно. – Если такие «художники» пожелают уехать к своим идейным собратьям, в тот же день получают паспорта и пусть там хоть на головах ходят. Мы на такое искусство ни копейки государственных средств не дадим.

Дальше отец вспомнил о каких-то модернистских картинах, увиденных им в Америке, и заметил, что не понимает Пикассо, и хоть он и коммунист, но солидарен в этом непонимании с английским консерватором Энтони Иденом.

– Сколько есть еще педерастов, так это же отклонение от нормы. Эти же художники – педерасты в искусстве, – вернулся он к засевшему у него в голове физиологическому объяснению корней модернизма. И примирительно добавил: – Пусть история оценит.

Суслов расстроился, последние слова Хрущева в его сценарий не укладывались. Тем временем отец двинулся дальше. Остановившись у картины П. Никонова «Геологи», долго и пристально в нее вглядывался.

– Что они пьют и что делают, не поймешь, – наконец произнес отец. – Нельзя так, товарищи. Картина должна вдохновлять человека, возвышать его. А это что? Что это за картина? Кто за нее заплатит? Я не буду платить. Пусть пишут и продают, но не за государственный счет.

– Что сейчас плохо, – прозвучал чей-то обиженный голос, – эти вещи невозможно даже критиковать.

В ответ, как записано в стенограмме, раздался свист и шум.

– Правительство не имеет права быть аморфным. Нельзя играть в нейтралитет, – не обращая внимания на шум, продолжал отец. – Товарищ Ильичев, это плохая работа ЦК, плохая работа идеологической комиссии, плохая работа Министерства культуры. Нельзя играть в нейтралитет. Капля дегтя может испортить бочку меда.

Настроение отца резко переменялось, теперь голос его звучал резко, непримиримо. Именно на это и рассчитывал Суслов. Помрачневший Ильичев что-то записывал в блокнот, Фурцева выглядела растерянно. Однако отец быстро успокоился, снова заулыбался и двинулся дальше. Ильичев с Фурцевой приободрились, на лице Суслова проглянуло беспокойство.

Наконец обошли все закутки первого этажа, и отец двинулся к выходу.

– Никита Сергеевич, еще не все, – Суслов буквально схватил отца за рукав. – На втором этаже «эти», я вам о них говорил.

Отец нехотя направился к лестнице.

«Сопровождаемый свитой, Хрущев поднимался на второй этаж. Там, в наскоро переоборудованном под выставку помещении буфета, собрали “модернистов”, – пишет Белютин.

– Будем аплодировать Никите Сергеевичу? – спросил кто-то.

– Обязательно, – сказал я.

Было тихо. Мы стояли группой, тринадцать мужчин и одна женщина. Возраст – от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Многие с бородами, длинными волосами, мрачные и молчаливые.

На последнем марше мы стали аплодировать. Хрущев прошел несколько ступенек.

– Ну, где у вас тут грешники и праведники, показывайте! – почти весело произнес Хрущев. – Спасибо за приветствие. Где тут главный, где господин Белютин?

Головы Косыгина, Полянского, Кириленко, Суслова, Шелепина, Ильичева, Аджубея повернулись в мою сторону».

Уже само обращение к Белютину «господин» выстраивало стенку между «нами товарищами» и «ими господами». Несомненно, отец задал свой вопрос под влиянием сусловских справок-объективов, убеждавших и почти убедивших его, что здесь, наверху, речь идет не об искусстве и даже не о физиологических извращениях, а о политике. Напомню, Суслов заранее передал ему список «неблагонадежных» художников, в нем особо отмечались «жаждавшие отмщений» дети репрессированных родителей.

«Я стоял в дальнем углу большой комнаты, которая служила до того буфетной залой, – вспоминает Белютин. – В другом ее конце находился Хрущев, члены правительства, несколько руководителей Союза художников, журналисты. Кругом стояли люди, которых я привык видеть на портретах. Их лица, равнодушные и скучающие, смотрели на меня. Наверное, мои длинные, еще не успевшие войти в моду волосы и мое безразличие к происходившему задевали их.

– Вы помните своего отца? – спросил Хрущев.

– Нет, – кратко ответил я (Белютин. – С. Х.).

– Как можно не помнить своего отца? – спросил Хрущев.

– Он умер, когда мне исполнилось два года, – сказал я.

Я смотрел на беспокойные зрачки Хрущева, в чересчур белые белки. Морщины, которые, появились у него на лбу, ничего хорошего не предвещали. Он злился.

– Кем он был? – спросил Хрущев.

Я подумал: не все ли равно? И ответил:

– Политработником.

Вопросы обижали. При чем здесь отцы? (Напомню, отец Белютина приехал в СССР после революции из Италии помогать советской власти строить новую жизнь. В 1927 году его арестовали и расстреляли. – С. Х.)

– Куда? – коротко спросил Хрущев.

Я вышел вперед и рукой показал на наш зал.

– Спасибо, – снова сказал Хрущев. – Вот они, он махнул рукой за спину, говорят, что у вас там мазня. Я еще не видел, но им верю. (Судя по стенограмме, отец сказал: «Я им верю, потому что уже видел сам такого типа картины на первом этаже». – С. Х.)

Я пожал плечами и открыл дверь нашей Голгофы. Свита Хрущева задержалась в дверях. Надо всеми возвышалась худая зловещая голова Суслова, – продолжает Белютин. – Электрический свет заливал стены, на них – яркие пейзажи, портреты, экспрессивные по цвету и рисунку картины. Поначалу Хрущев довольно спокойно рассматривал нашу экспозицию. Картины чем-то ему, наверное, нравились, и это задержало его. Он явно не мог приступить к чему-то намеченному и начинал злиться. Менялся на глазах, мрачнел, бледнел. Эта эмоциональность была удивительна для руководителя государства.

Абстракции висели только в углах и в другой комнате. Он, может быть, и не обратил бы на них внимания, если бы не услужливая подсказка Серова: «Разве это живопись? Вы только посмотрите, Никита Сергеевич, как намазано!» Суслов начал развивать тему «мазни», «уродов», которых нарочно рисуют художники, то, что не нужно советскому народу. Называл цифры, затраченные Министерством культуры, Третьяковской, другими художественными галереями и музеями на закупку всего этого «возмутительного, так называемого искусства». (Стенографистка высказываний Суслова не записала. Он, видимо, заранее обговорил, что стенографировать надо только отца и ответы на его прямые вопросы.) Сергей Герасимов, один из секретарей Союза художников СССР; Борис Иогансон, президент Академии художеств; Мочальский, руководитель МОСХа, упорно молчали.

Ильичев и Фурцева подавленно молчали. Леонид Федорович, человек многоопытный, понимал, что художники – только повод, атака Суслова направлена против него, и лихорадочно соображал, как ему выкрутиться из щекотливого положения. Фурцева тоже раскусила замысел Суслова и теперь по-женски переживала и за себя, и за художников, и за отца, за то, что он позволил заманить себя в эту западню. Несмотря на свое изгнание из Президиума ЦК, она к Хрущеву относилась сердечно.

«Очевидно, посещение нашей экспозиции вообще было необязательным, но существовал какой-то сценарий», – высказывает догадку Белютин.

Между тем приступили к осмотру. «Начали с портрета девушки А. Россалья», – большого в памяти Белютина не отложилось.

На самом деле значительная часть «обсуждения» происходила именно у этого портрета. Поэтому я на время отставлю Белютина и далее буду следовать беспристрастным записям стенографистки.

– Это наркотическая девушка, загубленная жизнью, – возмущался отец. – Мы вас не понимаем, не поддерживаем и не поддержим. Эти аморальные вещи не светят и не мобилизуют людей. Это наше знамя? С этим мы пойдем в коммунизм?

Он снова предупредил, что за такие полотна платить отказывается и за отсутствием покупателя предложил автору «выехать в свободный мир, там его поймут».

– Вы педерасты или нормальные люди? – прозвучал уже знакомый вопрос. Отец, казалось, искал разумное для себя объяснение увиденному.

От злополучной девушки Россалья толпа перетекла к «Тольке» кисти тогда еще никому не известного Бориса Жутовского. Рядом с картиной переминался с ноги на ногу худой вихрастый паренек.

– Что это такое? – возмутился отец. – Где автор? Дайте его сюда.

Жутовский по виду совсем не художник, и на него никто внимания не обратил. Наконец кто-то представил Жутовского Хрущеву.

– Вот какой красивый! – неожиданно произнес отец. Казалось, он не ожидал, что автор такой живописи может выглядеть нормальным человеком. Отец усталился на Жутовского.

– Если бы портрет, хоть чуть походил на вас, я бы посчитал вас стоящим художником, – миролюбиво начал отец и тут же сменил тон: – Зачем вы так пишете? Для чего? Какой это брат? Вам не стыдно? Штаны с вас спустить надо.

Отвлекаясь, скажу, в 1970-е годы я видел много портретов работы Жутовского, в том числе людей близких: моей сестры Юлии, отца, показывал он мне и свой автопортрет. Хороший человек Жутовский и художник, говорят талантливый, но мое восприятие его портретов мало отличалось от отцовского. Правда, я промолчал и даже похмыкал одобрительно.

Во время всей этой тирады отца Жутовский смущенно молчал.

– Вы нормальный физически человек или вы педераст? – оседлал отец уже ставшую привычной тему.

Умница и придумщик Жутовский потом переиначит «педераст» в «педерас» и многократно обыграет это слово, сделает его настоящим хитом Манежа.

– В живописи вы педераст. Это юродство, а он говорит: брат? – продолжал отец и, как бы недоумевая, обращался к своим спутникам за поддержкой.

– В стране две тысячи шестьсот человек таких типов, большинство нигде не работает, – встрял в разговор главный контролер Шелепин.

Не знаю, действительно ли он так подготовился к посещению выставки, что и цифрами обзавелся? Не думаю. Суслов с ним не дружил и наверняка в свой замысел не посвящал. Скорее всего, Шелепин, желая высветиться, эти две тысячи шестьсот придумал на ходу.

– Вы дайте списки, и мы вам дадим дорогу за границу, – поддержал отец, но обращался он не к Шелепину, а к окончательно растерявшемуся Жутовскому, – мы вас бесплатно доведем. Пройдете школу капитализма, узнаете, что такое жизнь и чего стоит кусок хлеба и, возможно, станете когда-нибудь приносить пользу.

Концовка прозвучала для всех неожиданно, особенно для Суслова. Что он, собирается их туда на стажировку отправлять?

– Товарищ Ильичев, я возмущен работой вашего отдела, так же, как и работой Министерства культуры, – тем временем продолжил отец, и у Суслова отлегло от сердца.

Жутовский во время всей этой экзекуции так и не промолвил ни слова, но, человек неглупый, он о многом догадывался. По его мнению, «всю эту кашу заварила одна команда живописцев, находившаяся у власти, которая решила свести счеты с другой командой, которая подошла к этой власти слишком близко, и, чтобы убивать наверняка, придумала, как воспользоваться обстоятельствами и сделать это руками первого человека в государстве».

Правда, догадывался Жутовский не обо всем, «команда живописцев» играла важную, но служебную роль исполнителей, позволяя главному игроку, Суслову практически не засвечиваться. Но эти политические игры художника Жутовского, по большому счету, не интересовали.

От Жутовского и злополучного портрета его брата Хрущев стремительно направился к большой композиции Грибкова «1917 год».

– Что это такое? – спросил Хрущев.

– 1917 год, – подсказал чей-то голос.

– Что это за безобразие, что за уроды! Где автор?

Люциан Грибков вышел вперед.

– Вы помните своего отца? – начал Хрущев.

Снова вопрос об отце в контексте с 1917 годом, с революцией, алогичный для художника и всех присутствовавших, кроме Суслова.

– Очень плохо, – ответил Грибков.

– Почему?

– Его арестовали в 37-м, а мне было мало лет.

Наступила пауза.

– Ну ладно, это неважно, – обращается Хрущев к автору. – Но как вы могли так представить революцию? Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует.

Последнее «доказательство» на Хрущева, по словам Белютина, так подействовало, что он побежал дальше, почти не глядя на картины. Потом вдруг остановился около большой композиции Владимира Шорца.

– А это что такое?

Далее последовал традиционный вопрос об отце – как ни странно, почти ни у кого из студийцев не было отцов, – и требование ответа: уважаете вы его или нет.

Белютин недоумевал напрасно, скорее всего «модернистов» для участия в выставке в Манеже подбирали в том числе по анкетным данным, «подтверждавшим» докладные.

«Хрущев в окружении плотной толпы бросился в обход вдоль стен. Раз за разом раздавались его выкрики: «дерьмо», «говно», «мазня». Он ругался почти у всех картин. К голосу Первого присоединились угодливые всхлипы: «правильно», «безобразие», «всех их за Можай». Причем это говорили, естественно, не члены правительства, а те, кто составлял их окружение – референты, журналисты, особенно рьяно члены правления Союза художников. Хрущев распалялся: «Кто им разрешил так писать?», «Всех на лесоповал, пусть отрабатывают деньги, которые на них затратило государство. Безобразие, что это, осел хвостом писал или что?» В общем, весь набор интеллигентских, с точки зрения Хрущева, порицаний был налицо. Однако настоящего мата не было.

«Все время стоя в стороне от табуна облепивших его людей, я (Белютин. – С. Х.) начал понимать театральное действие, которое “наш родной Никита Сергеевич” устраивает для своих, в общем, немногочисленных зрителей. Ему явно живопись чем-то нравилась, за исключением нескольких картин, и он никак не мог подвести ее под тот разнос, на который толкал его Суслов. Потом Хрущев сделал третий круг и остановился у картины Л. Мечникова, изображавшей Голгофу.

– Что это такое? – Хрущев опять повысил голос. – Вы что – мужики? Или педерасты проклятые? Как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Кто автор?

Леонид Мечников, капитан-лейтенант Военно-морского флота в отставке, был более спокоен, чем рядовые пехотинцы Люциан Грибков и Владимир Шорц. На вопрос об отце Мечников ответил, что его помнит и что тот еще жив.

– И вы его уважаете?

– Естественно, – ответил Мечников.

– Ну а как ваш отец относится к тому, что вы так пишете?

– А ему это нравится, – сказал Леонид.

Хрущев несколько остолбенело посмотрел на красивое лицо морского офицера, а в это время другой Леонид – Рабичев, обращаясь к Хрущеву, сказал:

– Никита Сергеевич, мы все художники – ведь очень разные люди и по-разному видим мир. И мы много работаем в издательствах, а Элий Михайлович нам очень помогает это свое восприятие перевести в картину, и мы ему очень благодарны.

Хрущев спокойно выслушал его слова и, посмотрев несколько секунд в лицо Рабичева, направился дальше. Всем стало очевидно, что перелом какой-то произошел, и Хрущеву теперь будет трудно взвинтить себя до недавней ругани. Здесь вдруг появился еще один наш студиец (уже упоминавшийся. – С. Х.) Борис Жутовский, который явно не раздражал Хру-

щева, может быть, благодаря тому, что внешне кого-то напоминал, но “коммунист номер один земного шара” слушал его внимательно и не перебивал.

Казалось, та театральная мистерия, которую пробовал разыграть Хрущев, пошла на убыль.

– Ну ладно, – сказал Хрущев, – а теперь рассказывайте, в чем тут дело. Я увидел, как по-разному насторожились Суслов, Шелепин, Аджубей».

Белютину не откажешь в проникательности, ведь он и понятия не имел, что каждый из этой троицы выстраивает свою игру, независимо от остальных и вопреки им.

«Эти художники, работы которых вы видите, – начал я, (Белютин. – С. Х.), решив не называть его (Хрущева. – С. Х.) по имени-отчеству, – много ездят по стране, любят ее и стремятся ее передать не только по зрительным впечатлениям, но и сердцем.

– Где сердце, там и глаза, – сказал Хрущев.

– Поэтому их картины передают не копию природы, а ее преображенный их чувствами и отношением образ, – продолжал я, не реагируя на хрущевскую реплику. – Вот взять, например, эту картину “Спасские Ворота”. Их легко узнать. А цветовое решение усиливает к тому же ощущение величия и мощи.

Хрущев слушал молча, наклонив голову. Он, похоже, успокаивался. Никто нас не прерывал, и чувствовалось, пройдет еще пять-десять минут, и вся история кончится. Но этих минут не случилось. Посередине моего достаточно долгого объяснения сухая шея Суслова наклонилась к Хрущеву, он что-то нашептал ему в ухо, и тот неожиданно взорвался:

– Да что вы говорите, какой это Кремль! Это издевательство! Где тут зубцы на стенах – почему их не видно? – Тут же ему стало не по себе, и он вежливо добавил: – Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!

Ему опять стало не по себе. Лицо его менялось, а маленькие глазки забегали по окружающим лицам.

– Но и вы, Серов, тоже не умеете хорошо писать, – сказал Хрущев, обращаясь к этому художнику-сталинисту, который все время его накручивал. – Вот я помню, мы посетили Дрезденскую галерею. Нам показали картину – вот там так были написаны руки, что даже в лупу мазков не различишь. А вы тоже так не умеете!

Хрущев был против всего сталинского. Он только что летом этого, 1962 года, отверг проекты монументов Ленину, создателей культа в искусстве Николая Васильевича Томского и Евгения Викторовича Вучетича, а год назад здесь же в Манеже заявил: “Я ничего в живописи не понимаю. Разбираться в этом – дело самих художников и специалистов. Сами решайте свои дела”.

Наступившая пауза действовала на всех, а то, что я, не выдержав, после слов “это не нужно советскому народу” повернулся к Хрущеву спиной, еще больше накалило обстановку. Суслов, откровенно заинтересованный в дальнейшем ее обострении, решил снова сыграть на мне.

– Вы не могли бы продолжить объяснения? – его голос был мягок и хриловат.

– Пожалуйста, – сказал я, глядя в его умные холодные глаза, загоревшиеся, как у рожденного игрока. – Наша группа считает, что эмоциональная приподнятость цветового решения картины усиливает образ и тем самым создает возможность для более активного воздействия искусства на зрителя.

– Ну а как насчет правдивости изображения? – спросил Суслов.

– А разве исторические картины Сурикова, полные неточностей, образно не правдивы? – возразил я.

Возникла дискуссия, где недостаточные знания ставили Суслова в слишком неудачное положение ученика, и он круто повернулся.

– А что это изображает? – спросил он, указывая на жутковатый пейзаж Вольска Виктора Миронова.

– Вольск, – сказал я, – город цементных заводов, где все затянуто тонкой серой пылью и где люди умеют работать, будто не замечая этого.

Хрущев стоял рядом, переводя взгляд с одного на другого, словно слова теннисные мячи, и он следит за силой ударов.

– Как вы можете говорить о пыли! Да вы были когда-нибудь в Вольске? – почему-то почти закричал Суслов. В голосе его прозвучала неожиданная страстность, и я даже подумал, не был ли он там когда-нибудь первым секретарем городского комитета партии.

– Это не фантазия, а пейзаж с натуры, – сказал я. – Вы можете проверить.

– Да там все в белых халатах работают! Вот какая там чистота! – продолжал кричать Суслов.

На цементном заводе белые халаты... Я вспомнил этот город, серый, с чахлыми деревьями. Пыль, которая видна за много километров.

– Да что это за завод? – добивался конкретности Суслов.

– Тут изображен “Красный пролетарий”,⁷⁴ – Миронов вмешался в нашу перепалку.

– Так почему же у него столько труб? У него их только четыре, – не унимался Суслов. Его уже явно наигранное возмущение должно было показать, что “мазня” компрометирует советскую промышленность.

– При чем здесь трубы? Художник, создавая образ города, имел право для усиления впечатления написать несколько лишних труб, – не сдавался я.

– Это вы так думаете, а мы думаем, что он не имел права так писать, – продолжал напирать Суслов.

Хрущев, которому, вероятно, надоел неубедительный диалог Суслова, повернулся, чтобы пройти в соседнюю комнату, где стояли скульптуры Неизвестного. Я поискал Неизвестного глазами и вдруг увидел его, стоящего около Шелепина и еще какого-то незнакомого мне человека. Этот высокий человек что-то поспешно говорил ему, и Неизвестный с побелевшими щеками кивал ему в знак согласия.

Все начали выходить, и я остался один в пустом зале. Один с ощущением того, что, может быть, еще не все потеряно и, если дальше все пойдет так же, как и здесь, мы еще кое-что сможем отыграть. Только бы Неизвестный был благодарен.

Когда я думал, кого из скульпторов пригласить на нашу Таганскую выставку и в конце концов выбрал Неизвестного, я знал, что вместе с Ильей Глазуновым ему разрешено бывать в пресс-клубе иностранных журналистов. Как говорили в Москве, “хотели бы мы посмотреть на того, кто по собственной инициативе придет в этот клуб (впрочем, никого туда и так не впустят) и куда он выйдет!”

В своей тогдашней мастерской у Сретенских Ворот Неизвестный вел необыкновенно активную «светскую» жизнь. Однажды я его посетил и видел, как на разбросанных, на полу матрасах сидели члены партбюро института имени Курчатова и рассуждали о свободе творчества. Мне не понравился разговор этих людей с безликими лицами.

Тем более странным показалось поведение Неизвестного во время Таганской выставки. При всем своем болезненном тщеславии он старался держаться в тени, отказывался давать интервью, не хотел участвовать в пресс-конференции.

Но Манеж поразил меня еще больше. Находясь все время за плечом Хрущева, Неизвестный буквально испарился, когда тот, обойдя трижды с ругательствами наш зал, поинтересовался его именем. Его не оказалось не только рядом, но даже в зале.

⁷⁴ Станкостроительный завод в Москве.

А сорока минутами раньше, отозвав меня в сторону, Незнакомый заявил: «Мне сейчас передали дружеский совет П. Сатюкова и просили тебе сказать, что если Никита будет зол, не вступать с ним ни в какую дискуссию, а только отвечать покороче на вопросы. Тогда все обойдется»».

Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды», собиратель и любитель живописи, держался Ильичева и искренне желал, чтобы все обошлось. Одновременно он, на случай, если не обойдется, демонстрировал лояльность Суслову.

«Теперь, стоя в пустом зале и слыша только шум голосов, я смотрел на хорошую живопись, висевшую на стенах, и думал, сумеет ли и захочет ли по тем или иным соображениям Незнакомый последовать собственному совету, которого я строго придерживался. Для меня было очевидно, что во второй раз подобного опыта я не сделаю и никогда больше не доверю половины дела человеку, которого до этого видел всего два раза. Правда, сам факт приглашения им иностранных корреспондентов на Таганскую выставку говорил о том, кто есть кто, и такого рода человек должен знать, как себя держать. И он действительно знал. Не прошло и десяти минут, как готовый решиться хотя бы частично в нашу пользу визит обернулся крушением всех надежд», – подводит итог своим рассуждениям Белютин.

Белютин обвиняет Незнакомого чуть ли не в умышленной провокации. Думаю, что он преувеличивает. Незнакомый действительно имел какие-то дела с КГБ, потому и позволял себе то, что другим не разрешено. Но в КГБ заправляли сначала Шелепин, а потом Семичастный, люди от Суслова далекие. В 1962 году на сговор с ним за спиной отца они бы никогда не пошли, скорее «продали» бы Суслова отцу. Суслов с ними тоже не контактировал.

Незнакомый имел хорошие отношения с ЦК, время от времени выполнял деликатные поручения людей Андропова, перезванивался он с Лебедевым и Ильичевым, отнюдь не союзниками Суслова. И тут его не в чем заподозрить.

«Тем временем, уверенность в нашей победе или, точнее, полупобеде имела двойное основание, – продолжает Белютин. – Прежде всего, сам факт приезда Хрущева на нашу выставку и то, что, несмотря на все усилия Суслова и сусловских помощников, Хрущев вышел из нашего зала достаточно успокоенный».

Что же происходило в зале работ Незнакомого? Как мы знаем, Белютин туда не пошел. Эрнст Иосифович рассказывал, что отец с порога набросился на него с нецензурной бранью, да такой изощренной, что Незнакомый даже опешил.

Сам матерщинник-виртуоз, Эрнст Иосифович не представляет иного серьезного объяснения между серьезными людьми. И тут он лепит образ отца по своему подобию. В принципе, я ничего не имею против мата, он – часть российской народной культуры. Просто повторяю в который раз, ругаться в общепринятом русском понимании этого слова отец, как ни удивительно, не умел. Отвращение к мату у него привилось с детства, с Донбасса. Среди квалифицированных слесарей-металлистов подобные выражения считались дурным тоном, хотя вокруг матерились все. И потом, работая в подчинении у мастера сквернословия Кагановича и не чуравшегося крепкого словца Сталина, он мата сторонился. Сказывался работавший в юности «иммунитет». Главное его бранное слово «турок», применявшееся в различных интонациях в зависимости от обстановки: от ласкательно-поощрительного до зловеще-угрожающего. Еще запомнилось «бездельник» – выражение высшей степени презрения. Я тоже не матерюсь, отец не научил, а теперь учиться поздно.

В варианте Незнакомого, он, в ответ на оскорбления, такое выдал, «что все толпящиеся за спиной Хрущева, члены и не члены Президиума ЦК, отпрянули. Сам же Хрущев Незнакомого зауважал, ощутил в нем силу, равную своей». Эта версия событий столь же мало соответствует действительности, как и домыслы Белютина о Незнакомом как провокаторе Суслова.

Судя по стенограмме, разговор в зале скульптуры велся и не по Белютину, и не по Неизвестному.

– У меня много добрых слов для вас, но я боюсь, что вы меня сочтете подхалимом. Разрешите показать вам свои работы, – начал Неизвестный, подводя отца к стоявшим в зале скульптурам.

Отец, все еще не остывший от выставленных в предыдущем зале «Спасских ворот», «Панорамы Вольска», многотрубного «Красного пролетария», отреагировал не очень дружелюбно.

– Похвала от таких господ – это не похвала, а оскорбление, – отмахнулся он.

Кстати сказать, это самые грубые слова, зафиксированные стенографисткой за время общения с Неизвестным. Стенограмма – неуправляемая, а стенографистка, как позднее диктофон, фиксировала буквально все, до последнего междометия.

Наконец, со второй попытки, Неизвестный подвел Хрущева к своим работам, не ассоциирующимся ни с чем реальным, бронзовым растопыркам. Этикетки поясняли: что одна из них «Разрушенная классика», другая – «Рак», третья – «Атомный взрыв».

– Эти работы олицетворяют конструкцию и пространство, – начал Эрнст Иосифович объяснять необъяснимое.

Конструкция и пространство отца не интересовали, и он спросил, откуда автор берет сверхдефицитную бронзу для своих отливок. Напомню, в те годы бронза считалась стратегическим материалом, ее отпускали исключительно по решению правительства и очень скупно. Использование ее для отлива скульптур считалось роскошью, а в данном случае, по словам отца, «растратой государственных резервов».

Неизвестный смутился, пробормотал, что покупает бронзу в художественном фонде за наличный расчет, на свалках собирает металлолом, поломанные краны, прохудившиеся тазы.

– Надо расследовать, – распорядился Хрущев.

(Как рассказывал мне позднее Эрнст Иосифович, следствие курировал лично Шелепин, но никакого криминала не обнаружили и дело закрыли.)

– Что это выражает? – отец ткнул пальцем в «Разрушенную классику».

– Ничего не выражает, – более неудачного ответа Неизвестный придумать не мог.

– Советую, уезжайте за границу. Возможно, станете там капиталистом, – почти равнодушно, без запала произнес отец.

– Я не хочу уезжать, – растерянно отозвался Неизвестный и тут же перешел к следующей работе, расколотой надвое человеческой голове. – Это атомный взрыв. Я не знаю, как еще показать страшность атомного взрыва.

– Хорошо, что вы это откровенно говорите, – голос Хрущева звучал миролюбиво. – Некоторые ваши замыслы неплохи, даже хороши, но все зависит от выражения замыслов, надо, чтобы их воплощение доходило до сознания простых людей. Весь вопрос, как выразить. С тем, как вы трактуете его (атомный взрыв. – С. Х.) в этом произведении, мы согласиться не можем.

– Когда приглашали на выставку, меня заверили, что «убийства» не будет, состоится откровенный разговор, – как бы полуправдывался Неизвестный. – Я открыто выставил все и вижу, что вы не ругаетесь... (Тут стенографистка сделала ремарку: веселое оживление.) – Я хотел бы сказать пару слов в защиту моих новых друзей-художников. Я с ними знаком всего десять дней. Они искренни, – продолжил Неизвестный.

Мне не верится, что скульптор Неизвестный не встречался ранее со своими собратьями по творческому цеху, не участвовал в совместных выставках, да и Белютин свидетельствует об обратном, но так записано в стенограмме. Отец в ответ заговорил об искренности и честности, о том, что искренность искренности – рознь, привел в пример рассказ Горького «Чел-

каш», историю, как честный крестьянин искренне хотел убить бродягу, чтобы, завладев его деньгами, купить коровенку. Затем привел в пример академика Патона, искреннего противника советской власти, прозревшего во время войны и попросившегося в партию.

– Если бы у вас была размолвка со мной, то и никакой трагедии не было бы. У вас размолвка с народом. Вы скажете – народ невежествен. Возможно, вы правы. Я считаю, что у любого человека, образованного и необразованного, чувство красивого пробуждается с пробуждением сознания. Искусство не должно отталкивать и пугать. Одно дело, нарисовав страшное – вызвать гнев, другое – вызвать страх. Страх ведет к капитуляции, в том числе и перед атомом, – изложил Хрущев свое кредо в отношении искусства и закончил тираду вопросом: – Что вы преследуете?

– Ко мне очень хорошо относятся западные коммунисты, крупные художники. Они мне пишут письма, я им отвечаю. Наши товарищи это знают, – невпопад начал отвечать Неизвестный. – Это очень сложный вопрос...

– Коммунистов объединяет общая идея, – перебил Неизвестного отец и продолжил объяснять свое видение прекрасного. – Джаз я терпеть не могу, я люблю мелодичные звуки. И живопись я люблю мелодичную, на которую смотреть приятно. В Киеве, в Мариинском дворце, там сейчас резиденция для высокопоставленных приезжих, висит картина, я не помню фамилии художника (видимо, Николай Петрович Глушенко. – С. Х.) – весна, залитое молоком цветения дерево, ветви спускаются до земли, усеянный цветами луг. Под деревом молодая пара, отец держит ребенка на руках, и ребенок, как бы сливается с этими цветами. Рядом мамаша любит цветением, мужем, ребенком... – произносимые отцом слова звучали задушевно, чувствовалось, что он видит эту картину, внутренне любит ее. – Разве можно увлечь уродством? – в его голосе вновь появились металлические нотки. – Кого потянет вторично смотреть на уродство? Почему вы нас считаете испорченными людьми? Мы хотим жить, радоваться. Вот ведь написал Солженицын об ужасных вещах, но с позиций, зовущих к жизни... Вы говорите, что видите в своем произведении море, воздух, но это видите только вы. Этого недостаточно. Надо, чтобы и другие увидели море, а я вижу черта вместо моря. У нас разные понятия. Мы такое направление в искусстве отвергаем. Если бы вы были Председателем Совета Министров, вы бы, наверное, всех своих противников давно в котле сварили, – отец с хитринкой глянул на Неизвестного. За время короткого разговора он успел распознать его жесткость и нетерпимость к инакомыслящим. – Мы вас в котле варить не станем, но и поддерживать не будем.

– Я извиняюсь, что задержал вас... – начал Неизвестный, но отец его перебил, когда тот еще не закончил свою мысль.

– Вы интересный человек, мне видится в вас раздвоенное сознание. (Отец не знал, что сам Неизвестный лейтмотивом своего творчества избрал образ кентавра: дуализм природы и бытия, противостояние живого и неживого, созидания и разрушения, человека – животного. Как отец уловил это, я не понимаю, по сей день.) В вас одновременно сидит и черт, и ангел. И они борются между собой. Я желаю победы ангелу, а если победит черт, мы поможем вам его душить.

– Чтобы жить, нужно душить черта в себе, как раба, – повторил его слова Неизвестный и почему-то добавил: – Я дружу с кибернетикой. Мои основные друзья ученые – Ландау, Капица. Они считают искусство предтечей науки, арки Кремля сложены интуитивно, но оптимальны с позиций сопромата, которого строители тогда не знали.

Отец не поддержал разговор, он уже высказал все, устал, да и время, «ассигнованное», как он сказал, на них, художников, истекало.

– До свидания, желаю, чтобы в вас победил ангел. Это от вас зависит, – произнес он и, протянув на прощание руку, направился к выходу.

Здесь я на время оторвусь от беспристрастной стенограммы и воспроизведу, как этот же эпизод отобразился в памяти свидетеля.

«Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! – вдруг изда- лека раздался истерический крик Хрущева. Его голос был визгливым и удивительно прон- зительным. – Так описывает Белютин завершающие сцены драмы в Манеже. – Я подошел к дверям нашего зала. Хрущев уже спускался по лестнице, размахивая руками, весь в крас- ных пятнах. Рядом с ним шли, не скрывая торжества, Суслов и явно обеспокоенный Косы- гин. У всех, даже у фотокорреспондентов, на лицах застыло изумление. И вдруг в полутьме комнаты, соединяющей верхние залы, раздался ликующий голос Серова: “Случилось неве- роятное, понимаете, невероятное: мы выиграли!” Он почти кричал, потный, толстый, в свои пятьдесят лет готовый скакать, прыгать от восторга. Он кричал, обращаясь к скульптору и одному из руководителей официального Союза художников скульптору Екатерине Белашо- вой.

Эти слова рухнувшие, как потолок на голову, ответили на вопрос, что же успел сделать Известный. Все кончено. Комедия обернулась трагедией».

А вот что зафиксировала стенограмма: После ремарки «При уходе с выставки» – сле- дуют, подводившие итог посещению, слова Хрущева. «Надо предоставить возможность бороться самим художникам и скульпторам. Мы поможем тем, кого считаем к нам близ- кими, кто сотрудничает в строительстве коммунизма. Других, насколько возможно, будем “душить”».

В первую очередь он обращался к Суслову и Ильичеву.

– Надо, чтобы пресса помогла, – подал голос шедший рядом Серов.

Отец громко, так чтобы слышали Сатюков и Аджубей, заверил его, что пресса поможет.

– Что передать московским художникам? – кто-то выкрикнул из толпы уже на самом выходе.

– Как на всякой выставке, есть тут и хорошее, и плохое, и среднее. Так и передайте! – отозвался отец и после паузы добавил: – Ни на одной выставке все не может быть хорошим. Так не бывает. Кроме того, я же все-таки не художественный критик. Мне следует выска- зываться осторожно, могу похвалить работу, а критик ее разругает. Возможно, он действи- тельно лучше меня видит.

Выйдя на Манежную площадь, все задержались на пару минут возле машин.

– Надо пройтись по учебным заведениям, почистить грязь. Это не угроза, – говорил отец сгрудившимся вокруг него членам Президиума ЦК. – Мы, правительство и партия, отве- чаем за народ, за страну. Из цемента должны делаться дома, на бумаге печататься произве- дения за коммунизм, а не против. Вся эта мазня наносит только вред. Я уже говорил о худо- жественной лотерее,⁷⁵ надо предоставить им лучшие произведения, чтобы выигравший не клял себя всю жизнь за улыбнувшуюся ему «удачу».

Помедлив, отец произнес:

– Надо строгость проявить.

– Надо всех их заставить работать. 2 600 человек бездельников в одной только Москве, – подал голос Шелепин.

Эти 2 600 человек, непонятно каких и откуда взявшихся, явно не давали ему покоя.

– Назовите, кого вы имеете в виду, чем они занимаются, – рассердился на шелепинскую назойливость отец. – Мы им предоставим работу, а не захотят работать, пусть уезжают на Запад и там культуру «обогащают».

⁷⁵ 21 июня 1962 года Президиум ЦК признал необходимым учредить специальную Всесоюзную художественную лоте- рею, а также включить произведения изобразительного искусства в число выигрышей республиканских денежно-вещевых лотерей.

Сделав общий поклон, отец пошел к машине, остановился у открытой охранником двери и пробормотал: «Другой раз надо блоху под рубаху запускать. Для бодрости духа. Бороться надо. Без борьбы жизнь скучна». Затем, как бы очнувшись, поднял голову и обвел взглядом публику, успевшую набежать к входу в выставочный зал.

– До свиданья, – Хрущев помахал рукой собравшейся толпе.

– Большое спасибо за посещение, – раздалось в ответ и затем еще один не очень понятный возглас:

– Вы нам протерли очки!

Наверное, кричавший имел в виду «глаза».

Отец рассмеялся, сел в ЗИЛ и укатил в Кремль. Там его ожидали еще не оконченные дела.

На этом заканчивается стенографическая запись высказываний, сделанных во время посещения руководителями партии и правительства художественной выставки, посвященной тридцатилетию МОСХ.

Через десятилетия у многих в памяти совместятся Манеж, суббота 1 декабря 1962 года, и так называемая «Бульдозерная выставка», в воскресенье 15 сентября 1974 года. Тогда двадцать четыре авангардиста-художника в ответ на отказ в предоставлении им государственного выставочного помещения расставили свои картины в Беляево, в то время на одном из московских пустырей. Власти, не придумав ничего лучшего, объявили, что в тот день на площадке ведется подготовка к закладке фундамента будущего дома и попросили художников убраться. Те отказались, и бульдозеры начали «выравнивать» грунт, заодно уничтожили и повредили несколько полотен. Остальные картины пришлось унести. Это безобразие засняли западные корреспонденты. Разразился скандал. Власти притворились, что они ни при чем, все это инициатива строителей, сдали назад и разрешили выставляться неофициальным художникам в Измайловском парке. Первая такая выставка-продажа на поляне прошла 29 сентября 1974 года и затем – регулярно, в зависимости от погоды.

15 сентября 1974 года, мы сидели в мастерской Неизвестного, он в Беляево не поехал. Поздно вечером появился кто-то оттуда, весь перемазанный глиной, захлеб рассказывал, как на них стеной шли бульдозеры. На самом деле их там было один или два. Эрнст скептически слушал и в заключение вынес вердикт:

– Я же говорил, что все вы дураки.

Однако вернемся к событиям 1 декабря 1962 года.

Белютинцы покинули здание Манежа почти последними. Вечерело. «Огромная площадь была пуста. Лежал раздавленный правительственными машинами снег, – пишет Белютин. – Кругом стояли равнодушные милиционеры. На углу под большими круглыми часами мы остановились. Все молчали.

– До свидания, – сказал Неизвестный.

Кое-кто махнул, глядя в сторону, головой. Я сказал: “Пошли ко мне”. Когда мы, замерзшие, вошли в квартиру, – продолжает Белютин, – попугай, висевший вниз головой в клетке, словно подождав, пока все соберутся, неожиданно произнес: «Ну и жизнь, я вам скажу!»

– Шеф, у меня есть знакомые, может быть, с ними посоветоваться, что нам делать? – спросил Жутовский.

– А что именно? – поинтересовался я.

– Может быть, выступить – заметил он.

– С чем?

– Ну, я не знаю. Они, в ЦК, сами нам подскажут.

– Хорошо, – сказал я.

Жутовский ушел и вернулся удивительно быстро. Он достал из кармана листок с машинописным текстом. Я не помню его точно. Там говорилось о людях, березах, которые мы

стремимся передать со всей страстностью, присущей советскому человеку, и все кончалось тем, что мы ищем и будем искать так же активно новые средства выражения своего видения действительности. Текст звучал достаточно гордо и вполне уважительно к нашему делу.

Было ясно, что кто-то наверху хочет вывести студию из-под удара, но вывести так, чтобы наше признание не кануло в вечность, а было просто несколько отодвинуто во времени».

С кем советовался Жутовский? С Лебедевым? С Сатюковым? Точно не с Аджубеем. Он – человек робкого десятка, и тогда сильно перетрусил. Может быть, с самим Ильичевым? Жутовский мог иметь на него выход по линии коллекционирования, помогая ему в покупке картин. Однако это все стало несущественным. Важно, что Суслов победил, в какой-то степени на какое-то время привязал к себе и даже подчинил отца. Одержанной победой Суслов воспользовался незамедлительно: в газеты ушла написанная его людьми информация о посещении Художественной выставки в Манеже. Обычно она укладывалась в три-четыре строки: пришел, осмотрел, поблагодарил. На этот раз в ней подробно излагались данные ими, вернее отцом, (фамилия «Хрущев» там пестрила через строчку), оценки выставленных произведений.

Внешне казалось, баланс полностью соблюдался, назывались, если не все, то большинство представленных в Манеже художников, вперемешку «чистые» и «нечистые», «хорошие и плохие». Затем упоминалось о спорах, вызванных полотнами Александра Дейнеки и Аркадия Пластова, манерой письма Александра Лактионова.

Далее перечислялись формалисты: покойный Р. Фальк, А. Древина, Ю. Васнецов, П. Никонов, А. Пологова, И. Голицын, Г. Захаров (запомним эту фамилию), «малюющих свои холсты хвостом осла», говорилось о негативной оценке их творчества, как собраниями-художниками, так и самим Хрущевым.

Информация о Манеже появилась на следующий день в «Правде». «Известия» отмолчались. Аджубей сколько-то времени тому назад выхлопотал поблажку не упоминать в газете о не слишком важных официально-протокольных мероприятиях, вроде приема послов, иностранных гостей не первого ранга и прочее. Они скучны и только раздражают читателей. Отец согласился, Суслов не возразил. Так, к примеру, «Известия» не сообщили о посещении отцом 30 ноября спектакля Киевской оперы. Осмотр выставки в Манеже Алексей Иванович попытался отнести к той же категории. Но не тут-то было! Не найдя на первой странице газеты нужной информации, Суслов резко выговорил Алексею Ивановичу. В результате «Известия» сообщили о событии, которому судьба уготовила стать «эпохальным», последними, во вторник 4 декабря 1962 года.

Нужно отдать должное Белютину, он уже тогда хорошо понимал политическую подоплеку происшедшего в Манеже. «Но надо было знать этого человека, – пишет Белютин о Суслове, – чтобы питать смешную иллюзию, будто он спокойно будет ждать своего конца. Манеж явился для него шансом, попыткой реванша. Поэтому он мобилизовал не только реакционных художников, но и собственный аппарат, своего рода тайную полицию, даже поступавшая к иностранным корреспондентам информация о событиях в Манеже ими старательно редактировалась. В сусловской версии все превращалось в бунт одиночек, а не проявлением того широкого движения среди художественной интеллигенции, которое поддерживалось партийным аппаратом и рядом самых высоких партийных руководителей и против которых выступил спровоцированный на взрыв Хрущев.

За считанные часы в редакциях рассыпали набор, сбивали клише, на радио и телевидении изымались тексты о нашей экспозиции. Номер журнала “Советский Союз” для Америки, полностью оформленный работами моих учеников, где шла давно подготовленная мною статья, изъяли из типографии и уничтожили».

Хороший тактик Суслов постарался немедленно закрепить достигнутый успех. На стол отцу легла новая докладная о том, что неладно не только у художников, не лучше обстоят дела и в литературе, и в кино, и в театре, и в музыке. И туда пробрались люди озлобленные. Отец же чувствовал себя не в своей тарелке. Внутренне он стыдился учиненного в Манеже скандала и одновременно, стремясь оправдаться перед самим собой, убеждал самого себя в собственной правоте. Иначе он, руководитель государства, отвечающий за спокойствие в стране, поступить не имел права. Записка Суслова оказала действие, отец согласился, что останавливаться на Манеже нельзя, следует вразумить и всех остальных. Так начался этот, наверное самый несчастливый, период в жизни отца.

Суслов предложил собрать Пленум по идеологии с установочным докладом самого Хрущева. Отец не возражал, но Пленуму предпочел разговор по душам. Суслов посоветовал «поговорить по душам» с интеллигенцией в ЦК, на худой конец в Кремле, там сами стены будут на них давить. Отцу больше импонировало нейтральное место, вроде подмосковного Семеновского, где они уже дважды откровенно и, как он считал, продуктивно беседовали о наболевшем с писателями и другими творческими деятелями. Но в Семеновском в декабре неудобно, и он остановился на Доме приемов на Ленинских горах. Там имелся кинозал, его можно использовать для совещания. Перед обсуждением, считал отец, следует разрядить напряжение обедом, продемонстрировать, что собрались для дружеского разговора, а не для «накачки». Обед-совещание назначили на 17 декабря 1962 года. Заглавный доклад по настоящему Суслова поручили Ильичеву, как председателю Идеологической комиссии. Ход Михаил Андреевич рассчитал с иезуитской точностью: от доклада Леониду Федоровичу не отвертеться, пусть этот поклонник «модерна» замарается как следует. Отец не возражал. Паутины, которой его опутывал Суслов, он не замечал.

Сам я на том совещании не присутствовал. В печати опубликовали только доклад Ильичева, без выступлений других участников. Сейчас полная стенограмма происшедшего в Доме приемов доступна всем желающим, но она длинна и скучна, я предпочту ей саркастические комментарии одного из участников, кинорежиссера Михаила Ромма: «Приехал. Машины, машины, цепочка людей тянется. Правительственная раздевалка. На втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными».

Отец рассчитывал, что «нормальные» художники и не художники разделят его неприятие к «извращенному» отображению природы, человека и всей нашей действительности. Вот он и попросил развесить в фойе Дома приемов с одной стороны, картины Юрия Непринцева, Александра Лактионова, Сергея Герасимова, Владимира Серова, а с другой – расставить скульптуры Неизвестного и творения других абстракционистов.

Результат получился обратный, многие из приглашенных становились на сторону абстракционистов-модернистов. Одним, как Илья Эренбург, их работы нравились, другие, в том числе и Михаил Ромм, просто сочувствовали гонимым властями. В России они всегда вызывают сострадание, неважно, нищие, арестанты или нетрадиционные художники.

«Толпится народ, человек триста, а то, может быть, и больше, – пишет Ромм. – Все тут: кинематографисты, поэты, писатели, живописцы и скульпторы, журналисты. В двери, которая ведет в главную комнату, видны накрытые столы: белые скатерти, посуда и яства. Черт возьми! Банкет, очевидно, предстоит! Что же это, смягчение, что ли?»

Смотрю, тут и абстракционисты. Рядом с Неизвестным мелькают и другие художники, которых я знал и которых ожидало, как казалось, неминуемое наказание. А тут вдруг банкет.

И вот среди этого гула, всевозможных взаимных приветствий и вопросительных всяких взоров появляется руководство, толпа устремляется к Хрущеву, защелкали камеры. Разумеется, тут же выросла фигура Михалкова: откуда ни щелкнет репортер, непременно рядом с Хрущевым Михалков, ну еще тут же Шолохов, Грибачев и какой-то человек с подергива-

ющимся лицом – не знал я, кто это. Спросил. Оказывается – скульптор Вучетич, у него нечто вроде тика.

Ну ладно. Хрущев беседует как-то на ходу, направляется в эту самую главную комнату, все текут за ним. Образуется в дверях такой водоворот из людей.

Расселись все. С одного конца раздался такой звоночек, что ли. Встал Хрущев и сказал, что мы пригласили вас поговорить, мол-де, но так, чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, решили вот – сначала давайте закусим.

Да, еще Хрущев извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный. Понятно...

Ну, примерно час ели и пили. Наконец подали кофе, мороженое. Стали отваливаться. Хрущев встал, все встали, зашумели, загремели стульями, повалил народ в анфилады. Перерыв».

После перерыва начался разговор. В кинозале, перед экраном, прикрытым занавесом, разместился президиум: Хрущев, другие члены Президиума ЦК. С коротким докладом выступил Ильичев. Леонид Федорович отлично понимал, что Суслов его подставляет, но не подставиться не мог. Не уходить же ему из-за каких то художников из секретарей ЦК? И вообще из политики? Человек умный и изворотливый, он попытался выкрутиться. Критику свел к перечислению уже «обсуждавшихся» в Манеже работ: «Обнаженная» Фалька, «Только» Жутовского, «Разрушенная классика» Неизвестного и иже с ними. От себя не добавил практически ничего. Правда, упомянул недавно вышедший в Нью-Йорке сборник стихов «Весенний лист» тогда еще никому неизвестного диссидента-математика А. Есенина-Вольпина, писавшего: «Что тираны их – мать и отец, / И убить их пора бы давно...», и еще: «Ничего не хочу от зверей, / Населяющих злую Москву». Строки, на мой взгляд, не столько поэтические, сколько политические, но автору виднее.

Затем Ильичев рассказал о новом письме Хрущеву от группы деятелей культуры, писавших о свободе выражения мнений, ставшей возможной после XX и XXII съездов партии, и одновременно опасавшихся «появления нового Сталина» и заверил, что такого не случится.

– У нас полная свобода борьбы за коммунизм, – провозгласил в заключение Леонид Федорович.

Хлопали ему дружно, но не очень громко.

Ромм Ильичева не запомнил, поэтому я для комментариев предоставляю слово Белютину, он тоже присутствовал на обеде: «Леонид Ильичев, толстый невысокий человек в сверкающих очках мало напоминал того “растерянного студента”, которому Хрущев в Манеже сделал выговор. Он (Ильичев. – С. Х.), столько сделавший для того, чтобы произошло культурное обновление страны, в котором студия (Белютин. – С. Х.) играла, по всей вероятности, роль символа, теперь, как рядовой партийный паникер, готов был отправить на плаху всех близких, лишь бы сохранить самого себя».

Белютин раскусил замысел Суслова, именно так он задумал представить нового «либерального» идеолога его «пастве». Пусть их от него с души воротит. И воротило. Еще как воротило. В полном соответствии с сусловским сценарием.

После доклада, как водится, начались выступления. Так уж получилось, что воспоминания о происходившем оставили молодые, только пробивавшиеся наверх «левые» писатели и иные деятели искусства или их покровители, вроде Ромма и Белютин. Поэтому рассказы об этом и последовавших за ним совещаниях выглядят очень прямолинейно и однобоко, свидетели представляют их как столкновение «левых» с Хрущевым или Хрущева с «левыми», и оставляют за кадром все остальное. Естественно – «у кого что болит, тот о том и говорит». На самом же деле обсуждению «левых» на этих собраниях отводилось совсем немного времени, на девяносто процентов обсуждение заполнялось выступлениями писателей, художников,

режиссеров, уже «сделавших» свою судьбу. Существующие власть и идеология их устраивали, и они устраивали власть. Речь вели о мелочах, кому-то хотелось расширить издательские планы, да не хватало денег, кто-то просил построить консерваторию или Дом творчества.

Собственно, в Доме приемов на Ленинских горах судачили, главным образом, о деньгах. Стороны, в том числе и «левые» формалисты-неформалы, добивались благосклонности государства так же, как в XVIII веке поэт Гаврила Державин стремился обрести благосклонность императрицы Екатерины Великой, ибо в России, и не только в России, благосклонность властей означала милости, достаток, славу. А потому боролись за нее они отчаянно.

Читая «Устные рассказы» Ромма, нельзя забывать и то, что он принадлежал к «своей» группировке, своей стае, видел окружающий мир ее глазами. С другой стороны, именно тем он нам и интересен. Итак, Ромм: «Запомнилось несколько выступлений. И прежде всего, разумеется, выступление Грибачева, потому что оно относилось ко мне. Он назвал меня провокатором, политическим недоумком, клеветником и поклялся своими еврейскими друзьями, что он не антисемит. Ну а заодно разносил Щипачева.

Запомнилось наглое какое-то, отвратительно грязное поведение Вучетича. Запомнилась фигура Ильичева, который все время кивал на каждую реплику Хрущева, потому что все эти выступления перемежались отдельными выступлениями самого Хрущева, его длинными, развернутыми репликами. А реплики Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо».

О чем говорил Эренбург, Ромм не запомнил, но запомнил Белютин: «Эренбург говорил не о своих профессиональных делах, а о живописи. Он сказал, что Фальк великий художник. Он сказал, что живопись – великое искусство, сложными путями воздействующее на людей, и что ее нельзя трактовать как раскрашенную фотографию, и что Белютин создал школу, противостоящую антиживописи, и запрещать ее неразумно».

Поэтому и запомнил – Эренбург выступил в защиту его «стаи».

Затем, по словам Белютина, Эренбург сделал реверанс в сторону Хрущева: «Впервые, Никита Сергеевич, весь народ увидел, что в Кремле сидит живой человек, и это колоссально».

А вот каким запомнился отец Ромму: «Фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня. Началось с того, что он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия. Такой, что ли, лесопромышленник или тамада большого стола – вот угощая вас, кушайте, пейте. Мы тут поговорим по-доброму, по-хорошему.

И так это он мило говорил – круглый, бритый. И движения круглые. Ну, так сказать, все началось благодно. И первые реплики его были благодные. Он рассказывал про то, как он “Ивана Денисовича” выпустил. И во время этой реплики Твардовский сказал: “А ведь Солженицын-то здесь”. Хрущев говорит: “Вот, любопытно познакомиться”. Встал высокий худой человек в потертом дешевеньком костюмчике, с мрачным и совсем невеселым, болезненным лицом. Неловко как-то поклонился, сел. Странное впечатление он произвел».

Солженицын не принадлежал к «стае» Ромма, вообще к какой-либо «стае». Он сам по себе. Типичный «медведь-шатун».

«Так вот, сначала был такой благодный хозяин, – продолжает Ромм, – а потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался... И обрушился он раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он говорил, что такое художник, который “стремится к коммунизму”, и художник, который “не помогает коммунизму”... И вот какой Эрнст Неизвестный плохой. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел, нашел и очень обрадовался этому, говорит: “Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что

над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство – ему не хватает доски от стульчака, с круглой прорезью, вот чего не хватает. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!” Говорит он это под хохот и под одобрения интеллигенции творческой, постарше которая, – художников, скульпторов да писателей».

Отец потом «раскаивался относительно формы критики Неизвестного», но только формы, так как «по существу, – писал он в своих воспоминаниях, – я остаюсь противником абстракционистов. Просто не понимаю их».

Парадоксально, что в творчестве Неизвестного часто встречается образ великана, сидящего в характерной позе и испражняющегося «человеками», один за другим выпадающими из его задницы. Отец, естественно, этих произведений не видел.

Ромму, как и до последнего времени мне, Неизвестный представляется глыбой, о которую разбиваются претензии властей и всех иных его недоброжелателей.

А вот Белютин видит его совсем иначе: «Для более убедительного доказательства того “безобразия”, до которого дошла наша студия, Хрущев потребовал, чтобы прямо к столам вынесли неугодные ему картины и скульптуры Неизвестного.

– Смотрите, вот это называется женщиной. Это же испорченный водопроводный кран! – слова эти, сопровождаемые хохотом, гиканьем присутствовавших, относились к маленьким скульптурам Неизвестного, которые поднимались вверх услужливыми руками.

Не знаю, как можно было такое выдержать, тем более подавать вежливые реплики, улыбаться, извиняться, обещать исправиться, как то делал Неизвестный. Схватив за рукав Хрущева, он не давал ему несколько минут сказать ни слова, отчаянно расхваливая свои работы и вызвав тем самым ответный истерический взрыв».

На этот раз отец, видимо, на самом деле не совладал с собой, наговорил Эрнсту Иосифовичу лишнего. На следующий день он остыл и попросил Лебедева позвонить Неизвестному, сгладить шероховатости.

Неизвестный написал отцу в ответ:

«Дорогой Никита Сергеевич, благодарю Вас за отеческую критику. Она помогла мне. Да, действительно, пора кончать с чисто формальными поисками и перейти к работе над содержательными монументальными произведениями, стараясь их делать так, чтобы они были понятны и любимы народом. Сегодня товарищ Лебедев передал мне Ваши добрые слова, Никита Сергеевич. Я боюсь показаться нескромным, но я преклоняюсь перед Вашей человечностью, и мне много хочется писать Вам самых теплых и нежных слов. Но что мои слова, дело – в делах.

Никита Сергеевич, клянусь Вам и в Вашем лице партии, что буду трудиться не покладая рук, чтобы внести свой посильный вклад в общее дело на благо народа.

*С глубоким уважением, Э. Неизвестный
21 декабря 1962 года».*

Прочитав письмо, отец разослал его членам Президиума ЦК. Для себя он счел инцидент исчерпанным. Но Сулов и Шелепин продолжали, каждый по-своему, растревать инициированный в Манеже скандал. Шелепин занялся расследованием, откуда Неизвестный достает бронзу, а вот Михаила Андреевича больше беспокоил Ильичев. Ему удалось выскользнуть из ловушки в Доме приемов почти без потерь.

Однако вернемся в Дом приемов. После обмена «любезностями» с Неизвестным разгоряченный перебранкой отец взялся за Эренбурга. Он и кто-то еще написали отцу письмо, предлагая установить в искусстве «мирное сосуществование» различных направлений и

школ, формалистов с реалистами, Грибачева с Евтушенко, Серова с Белютиным, другими словами, примирить всех пауков в банке.

Об этом письме говорил в своем вступительном слове и Ильичев, но не назвал ни одной фамилии, потому, что, по его мнению, они «одумались» и попросили свое письмо обратно. Отец о письме не забыл и имена основных «подписантов» запомнил.

Идея Эренбурга ему не понравилась, он интуитивно ощущал, что от такого «мирного сосуществования» костей не соберешь, от страны камня на камне не останется.

«Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии, – вспоминает Ромм слова Хрущева.

– Да ведь это была острота! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было! – отозвался с места Эренбург.

– Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществование в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи! И это я предупреждаю всех, кто подписал это письмо, – поставил точку Хрущев».

Время открыть банку и встряхнуть оттуда «пауков» пока не пришло, да и сами «пауки» покидать банку не собирались. Какое тут мирное сосуществование?! Белютин мечтал убить Серова, Серов – Белютина, Евтушенко ненавидел Грибачева, а Грибачев – Евтушенко. И те и другие яростно душили, кого только могли и где только могли. Так и жили.

«С одной стороны, Эренбург, Евтушенко и Щипачев говорили очень хорошо, – подводит свой итог Ромм, а вот Михалков, тот же Шолохов, Грибачев и Вучетич с подергивающей мордой, удивительно отвратительные личности».

На совещании, согласно официальной стенограмме, выступали еще художники Дейнека и Серов и кинорежиссер Сергей Герасимов. Ромм их не запомнил или счел недостойными своих воспоминаний. А вот упомянутые им недобрым словом Михалков, Шолохов и Вучетич в тот день, судя по стенограмме, не выступали, хотя в зале и присутствовали. Просто они Ромму не симпатичны, как и Ромм не симпатичен им. И ничего тут не поделаешь. Но это так, для справки.

После «обеда» в Доме приемов отец посчитал свою миссию выполненной, о чем и заявил Суслову, – пусть дальше он разбирается сам, это входит в служебные обязанности главного идеолога. Как я уже писал, на следующий день, 18 декабря 1962 года, отец вместе с президентом Югославии уехал в Киев. Суслов же, напротив, считал, что все только начинается. Он поручил Ильичеву на следующей неделе собрать в ЦК расширенное заседание Идеологической комиссии и, теперь уже без Хрущева, как следует отчихвостить всех вольнодумцев. Ильичеву не оставалось ничего иного, как взять под козырек.

Заседание назначили на 24 декабря в здании ЦК, на Старой площади. Ромма туда не позвали, а вот Белютина пригласили.

«Первыми выступали поэты. В окнах светился холодный московский день, а поэты били себя в грудь, и каждый по-своему доказывал свою истовую веру и верность партии, что бы она ни делала. Изредка среди этих пустых трафаретных слов поэты и писатели, вроде Аксенова, лягали друг друга. Сидя в самом дальнем углу, я смотрел на силуэты вздрагивающих, припадающих к микрофону, вздымающих вверх руки и думал: откуда столько страха, чем их, молодых, успели запугать, чтобы можно было говорить что-нибудь подобное?»

Не могли не запомниться Рождественский и Евтушенко.

Рождественский: «Мое поколение скоро встанет у штурвалов и во главе министерств, мое поколение верно заветам отцов, для нас идеи партии самые родные, мы счастливы, что живем и думаем под ее руководством».

Евтушенко: «Если кто-нибудь на моем поэтическом вечере скажет что-нибудь антисоветское, я сам своими руками его отведу в органы госбезопасности. Пусть партия знает, что самый близкий и родной человек станет для меня в таком случае врагом».

И это не был испуг, угроза тюрьмы. Кто-то хлопал, кто-то напряженно молчал. Враг бардов Владимир Фирсов выступил против того, что их (бардов. – С. Х.) вместе с Вознесенским слишком много печатают. Художник Андронов говорил о недопустимости вмешательства в профессиональные дела художников. Через четверть часа выступил Никонов, и все свое выступление обратил против меня, против “белютинцев”, потребовал их наказания и полной изоляции. Я послал записку в президиум с просьбой дать мне слово. Было ясно, что слова мне не дадут. Через полчаса все закончилось. На улице было холодно.

На следующее утро, 25 декабря, я (Белютин. – С. Х.) еще не проснулся, когда раздался звонок и в трубке зазвучал голос заведующего Отделом культуры Поликарпова, который вчера сидел в президиуме совещания рядом с Ильичевым. Он дружески, как будто ничего не произошло, спросил, не мог бы я заехать к нему на Старую площадь сейчас же. Продолжение совещания назначили на шестнадцать часов, и я понял, что все это имеет отношение к моему выступлению». ⁷⁶

Разговор с Поликарповым Белютина обнадежил, и в таком настроении он направился на второе заседание Идеологической комиссии.

«...Пройдя сквозь ряды офицеров госбезопасности, я с удивлением увидел, что Неизвестный оживленно разговаривает с секретарем Союза художников Владимиром Серовым, всячески стараясь не замечать меня, – пишет Белютин. – Я услышал, что мне предоставляется слово еще в дверях зала заседаний.

В выступлении я сказал о глубоком сожалении, что то, что делаешь, не получает понимания и что в десяти книгах, которые я написал, я стремился обосновать историческую органичность движения русского искусства к новым дорогам. Но, сказал я, еще рано говорить о полном открытии, надо идти дальше.

И тут голос из президиума прервал меня: “А не расскажете ли вы, как оказались на вашей Таганской выставке корреспонденты?” Спрашивал Сатюков, едва ли не самый умный из сидевших там людей. Через несколько дней Неизвестный придет ко мне и скажет, что он очень переживал этот момент, считая, что я его выдам.

Я ответил: “Думаю, что органы госбезопасности легко установят, что ни я, и никто из моих учеников иностранных корреспондентов не приглашал”. Было нелепо пререкаться – пусть мяч летит обратно.

Вскоре слово взял Ильичев. ⁷⁷ Гладко играя словами, он стал выговаривать, как добрый учитель школьникам: кто вам сказал, товарищи молодые деятели культуры, что партия отменила решения, принятые при Жданове? Откуда вы взяли, что можете делать, что хотите? Почему вы решили, что партия перестала контролировать вас? И так далее.

Стекла его очков сверкали. Гладко и без бумажки он говорил долго, очень долго. Через несколько дней, когда в газетах появилось его выступление, я был очень удивлен: большая часть из того, что он говорил, там не присутствовала. Только в конце стояло, что три главаря этого “бунта” – Евтушенко, Белютин и Неизвестный – еще создадут достойные своего народа произведения. Если Евтушенко и Неизвестному дали в дальнейшем печататься и лепить, то меня и нашу студию замуровали. И ощущение это не оставляло меня, пока я спускался по лестнице в гардероб, где Неизвестный по-прежнему не замечал меня и не оставял Серова. Надевая пальто, я услышал обрывок их разговора: “И перевоспитывайте меня, перевоспитывайте – я весь в вашем распоряжении”. Я прошел мимо охраны и вышел в снег».

Этими словами художник Белютин заканчивает свои воспоминания. Теперь я позволю себе обратиться к документам. Стенограмма совещания занимает 85 страниц, она скучна, и подробно ее цитировать не имеет смысла. Все двадцать четыре выступавших вначале еди-

⁷⁶ Согласно стенограмме, второе заседание состоялось 26 декабря, а не 25-го, и в два часа дня, а не в четыре.

⁷⁷ Согласно стенограмме, после Белютина выступило еще девять человек и только потом – Ильичев.

нообразно и единодушно заверяли присутствовавших в поддержке линии партии, а затем каждый тянул одеяло на себя. Художник Илья Глазунов беспокоился о сохранности памятников старины, поэт Фирсов возмущался формализмом, «презрением к человеку» в работах Неизвестного, другой поэт – Исаев, цитировал Николая Рериха, композитор Родион Щедрин рассказал о молодом музыкальном даровании Котике Орбеляне, поэт Евтушенко заклеил позором диссидента Александра Гинзбурга и его «Синтаксис», прошелся по уже известному нам из выступления Ильичева в Доме приемов другому диссиденту Есенину-Вольпину и рассказал о себе, о своих выступлениях в Политехническом музее и у памятника Маяковскому.

Поэтесса Ахмадулина говорила о годах учебы в Литературном институте, где «им совершенно не давали жить». Поэт Котов обрушился на недавно вышедший сборник стихов поэта Вознесенского под претенциозным названием «Треугольная груша», название его, главным образом, и рассердило. Прозаик Аксенов рассказал о Японии, откуда он только что прилетел и понятия не имел, что происходит в Москве. «Напрасны попытки некоторых недобросовестных критиков представить нас как нигилистов и стилияг, – говорил он с пафосом. – Я благодарен партии и Никите Сергеевичу Хрущеву за то, что я могу с ним разговаривать, с ним советоваться. Мы хотим сказать, что у нас чистые руки».

Можно еще долго цитировать говоривших, отыскивая в каждом из выступлений что-то интересное, но я заставлю себя остановиться. Добавлю только, что Белютин ошибся, Ильичев в заключительном слове Жданова не поминал, прошелся чохом по всем получившим слово, но никого особенно не ругал, а о самом Белютине сказал, что его «сегодняшнее выступление заслуживает внимания».

– Позвольте поблагодарить всех и призвать вас сделать необходимые правильные раздумья из всего того, что было на нашем совещании, – этими словами Ильичев подвел итог обсуждению.

В докладной Хрущеву Леонид Федорович написал, что на заседание 24 и 26 декабря пригласили «молодых писателей, художников, композиторов, творческих работников театра и кино, всего 140 человек... Молодые творческие работники, в общем, правильно понимают и разделяют партийную критику... Благоприятное впечатление произвели выступления художника И. Глазунова, поэтов Е. Исаева и В. Котова, литературных критиков Д. Старикова и Ю. Суровцева, писателя В. Чивилихина, композиторов Р. Щедрина и А. Хачатуряна. Осмысленнее выступал Е. А. Евтушенко.

О своем одобрении мероприятий партии говорили писатель В. Аксенов, поэтесса Р. Казакова, поэт Р. Рождественский.

...Скульптор Э. Неизвестный, художники Э. Белютин и Б. Жутовский выступили с самокритическими заявлениями, заверив, что они делом ответят на строгую, но справедливую партийную критику их ошибок. Вместе с тем, художники П. Никонов, и особенно Н. Андронов, продолжают упорствовать в своих заблуждениях, за что и были осуждены И. Глазуновым и Э. Неизвестным.

Поэтесса Б. Ахмадулина, поэт Б. Окуджава стремились представить, что нет никаких идеологических извращений, а идет борьба бездарных людей против талантливых. Вызывались опасения, что... на местах могут учинить “расправу” над инакомыслящими.

Состоявшийся обмен мнениями будет способствовать сплочению творческой молодежи... Л. Ильичев».

Вот, собственно, и все существенное о совещании в ЦК.

Ильичев, как мог, старался смягчить формулировки и тем самым выскользнуть из-под Суслова, но ему становилось все яснее, что Михаил Андреевич одержал верх, по крайней мере пока.

Времена на дворе стояли не сталинские, происходившее на идеологических совещаниях немедленно становилось известным западным корреспондентам, они дружили и привлекали «модернистов», и те отвечали им взаимностью. В американских и европейских газетах напечатали заявление Неизвестного об осознании своей ответственности перед обществом, перед властью. Неизвестный мне говорил, что несмотря ни на что Шелепин продолжал выяснять, не ворует ли он бронзу из стратегических резервов. Эрнст Иосифович обратился к Лебедеву, и тот посоветовал Александру Николаевичу «остудить» его людей. Расследование «бронзового» дела приостановили, а сам Шелепин помягчел, через помощника пообещал Неизвестному помощь.

Разговор Неизвестного с Владимиром Серовым в гардеробе ЦК тоже получил продолжение. Эрнсту Иосифовичу предоставили возможность доказать свой профессионализм. И он его продемонстрировал, слепил за две недели, так он мне рассказывал, абсолютно реалистическую фигуру сталевара. Ее, по словам Эрнста Иосифовича, растиражировали во множестве копий, расставили по всему Советскому Союзу, ему же заплатили баснословный гонорар, больше, чем когда-либо какому-либо другому скульптору.

Тем временем отец возвратился из Киева, и вскоре отпраздновали Новый год.

Как мне рассказал в 2005 году Евтушенко, отец через Лебедева пригласил его на Новогодний прием в Кремле. Евгений Александрович, впервые попав в столь «высокое» собрание, впитывал все детали. После первых тостов, когда гости немного расслабились, Хрущев позвал его к столу президиума, чокнулся шампанским, познакомил с другими членами советского руководства.

И это несмотря на то, что 17 декабря в Доме приемов Евтушенко не испугался в самый разгар спора заявить, что ему, в отличие от Хрущева, работы Неизвестного нравятся. А возможно, не «несмотря на это», а именно потому отец проникся к поэту симпатией.

Теперь Хрущев демонстрировал свое желание поставить крест на происшедшем. Покончив с представлениями за столом президиума, отец начал ритуальный обход столов, пожимал руки послам, министрам, академикам и всем им представлял своего спутника – Евтушенко, как будто он не мальчишка-поэт, а президент дружеского государства.

После завершения официальной части, началась часть неофициальная, в том числе тосты. Евгению Александровичу запомнилось, что в одном из них Хрущев вдруг заговорил, что в партию, в расчете на привилегии, рвется столько людей, что он, Хрущев, не знает, что и делать. Тут он сделал паузу и заявил, что знает, как разрешить проблему, – предложил подумать, не принять ли в партию все население СССР. Затем поинтересовался у дуайена дипломатического корпуса, посла Швеции Ральфа Сульмана, когда он подаст заявление в коммунисты? Он столько лет живет в Москве, сжился с нами. Сульман обещал подумать. Расставались отец с Евтушенко почти друзьями.

Казалось, все постепенно успокаивалось. Но только казалось. Михаил Андреевич считал иначе. Он задумал новое «обсуждение», на сей раз киношников. По воле случая мне там довелось попристутствовать. Точной даты я не помню, но дело происходило зимой, лежал снег, видимо, в феврале 1963 года.

В свободные от мероприятий дни, отец использовал Дом приемов как домашний кино-театр. Там имелся широкий экран со стереозвуком. Резиденция, где мы жили, размещалась рядом, за забором, в доме 40 по Воробьевскому шоссе. Там тоже имелся кинозал, по традиции для правительственных особняков объединенный с бильярдной. Биллиардного кия отец в руки не брал, а мама с возрастом стала все громче похрапывать, и он переоборудовал бильярдную-кинозал в свою личную спальню. Кино по выходным мы теперь смотрели в Доме приемов, сами или с соседями – жившими в соседних резиденциях другими членами Президиума ЦК.

В одно из воскресений, как обычно, давали два фильма: первый немецкий, гэдээровский, дублированный, а второй наш – «Заставу Ильича» Марлена Хуциева. В зале, кроме нашей семьи, сидели Косыгины, Сусловы и еще кто-то, но из киношников – никого. Просмотры эти носили семейный характер.

В первом фильме показывали, как империалисты НАТО задумали на нас напасть. Бомбардировщики легли курсом на Берлин, но сознательные летчики после предусмотренных сценарием колебаний разворачивали самолеты назад. Провокация провалилась. Свои впечатления от фильмов отец обычно не высказывал, не нравилось – уходил в соседнюю комнату или домой читать бумаги, нравилось – досиживал до конца. На сей раз он досидел до конца, но когда зажегся свет, бросил: «Фильм политически вредный. Подобное кино нам показывали перед войной, а что получилось в действительности?»

Головы повернули в его сторону, но он не стал углубляться в эту тему и попросил продолжить показ.

«Застава Ильича» мне понравилась не то чтобы очень, но понравилась. Фильм – молодежный, ребята стайкой ходят по улицам, танцуют, вечерами собираются у кого-то дома, романтично, при свечах едят картошку в мундире и рассуждают о жизни.

Фильм закончился, но «старшие» не спешили расходиться, они явно ждали еще чего-то. Теперь-то я понимаю, что смотрели «Заставу Ильича» не случайно, даже Суслов с Косыгиным, в то время не жившие на Ленинских горах, в кино приехали.

Тишину разорвал блеющий высокий голос Суслова. Он говорил, что фильм идеологически направлен не туда, показывает не ту молодежь и не так. Естественно, я всего не помню, но меня особенно поразила его придирка к самому названию фильма. Все знают, что это площадь в Москве, от нее отходит шоссе Энтузиастов, герои фильма там жили, там болтались по улицам. Михаил же Андреевич стал разглагольствовать, что «Застава» это по-русски «сторожевой отряд», и получается, что он обороняет нас от «Ильича». Мы все знаем, от какого «Ильича».

«Что за идиот! – я подумал тогда. – Как можно нести такую чушь?»

Но Суслов не унимался, ему не нравилось все: как юноши по вечерам шатаются по улицам, что они едят неочищенную картошку, да еще при свечах.

– Что у нас другой еды или электричества нет? – риторически вопрошал Михаил Андреевич.

Я просто онемел от всего услышанного. Дальше – больше! Михаил Андреевич зацепился за эпизод, когда образ убитого на войне отца главного героя появляется перед его мысленным взором. Молодой человек спрашивает его, как ему жить дальше? «Сам не маленький, ты теперь старше меня», – отвечает отец-призрак и растворяется в полумраке. Подразумевалось: я тогда знал, что делать, пошел на фронт, погиб за Родину, и ты свой путь найдешь, не ошибешься. Так я истолковал слова отца героя фильма. Очень правильный и патриотичный эпизод.

Я рассказал, что запомнил, чуть ниже воспроизведено в деталях, что и как показывали на экране, – еще правильное и патриотичнее. Суслов же все перевернул с ног на голову: тут и не свойственная нашему искусству мистика, и почему это отец не отвечает на вопрос прямо, а затем исчезает, как тень отца Гамлета? Я уже ничего не понимал и недоуменно смотрел на отца и его коллег.

Противостояние поколений – извечная тема отцов и детей, не сусловское изобретение, но он ею умело воспользовался, представил борьбой идеологий, чуть ли не предвестником антигосударственного мятежа.

Началось все не в кинозале на Ленинских горах, первые, пока осторожные, обвинения прозвучали в Манеже, на совещании в ЦК «дети», как могли, оправдывались, заверяли, что они ничего такого и в мыслях не имели. Но отец там не присутствовал и, хотя в своей доклад-

ной Ильичев о проблеме поколений и словом не обмолвился, Михаил Андреевич развернул процесс в нужную сторону. В его интерпретации получалось, что не скульптор Неизвестный соперничал со скульптором Вучетичем за право ставить мемориал на Мамаевом кургане, не художник Андронов спорил с художником Серовым о манере письма, а вся эта «ватага вольнодумцев» покушалась на завоевания революции. Как под этот каток попал Марлен Хуциев? Не знаю и не узнаю. Отец на неприятную для себя тему говорить отказывался, тогда от раздражения, а потом – совестился.

В таких делах опыт Суслов накопил немалый опыт и возможностями обладал обширными. Скорее всего, он действовал по трафарету: разослал заключения «ученых-экспертов» на кинофильм, соответствующие «объективки» на его авторов. Ему удалось убедить отца, что в фильме скрыт политический подтекст, в общем, тот же «Кружок Петефи». Так что Суслов выступал после фильма не спонтанно и реакцию слушателей заранее подготовил.

Но тогда я ничего не понял и очень удивился, когда, выслушав сусловские сентенции, отец предложил пригласить авторов фильма и с ними поговорить.

– Надо, надо, – с готовностью отозвался Михаил Андреевич. Остальные из старшего поколения одобрительно гудели.

«Что тут происходит? – недоумевал про себя я. – Ну ладно Суслов, но как отец может себя так вести?»

Тем временем все стали расходиться. Мы с отцом, помнится, пошли провожать к воротам нашей резиденции Косыгина с женой Клавдией Андреевной, полной крашеной блондинкой, внутренне симпатичной, но на мой взгляд, примитивной женщиной. Пока шли, Косыгин поругивал фильм, Клавдия Андреевна ему поддакивала и чем-то возмущалась. Отец слушал его с благосклонным согласием. Я же чуть не закипел: как они, разумные люди, руководители государства, не понимают столь очевидных вещей?

Проводив Косыгиных, мы повернули к дому, отца еще ожидала вечерняя почта. Мне не терпелось объяснить ему, что они чего-то недопоняли, неправы, так нельзя!

– А мне фильм понравился! – начал я.

Отец не отозвался, и я, торопясь, от ворот до двери всего-то идти минут пять, сказал ему все, что думал.

– Ничего ты не понимаешь, – только и отозвался отец. Он взялся за ручку двери, явно не собираясь продолжать разговор.

Дома отец отправился в столовую, на обеденном столе привычно разложил свои папки, а я обиженно, – сам он ничего не понимает, – ушел в свою комнату.

На следующий вечер, я только что вернулся с работы, отец позвал меня с собой в Дом приемов на встречу с «киношниками». Таким образом он надеялся переубедить меня и одновременно убедиться самому. Возможно, он чувствовал себя не в своей тарелке после вчерашнего. Не знаю.

Когда мы пришли в Дом приемов, в кинозале уже собралось много народу – знакомые, коллеги отца по ЦК и Правительству, но еще больше незнакомых. Я юркнул в полупустой задний ряд, а отец прошел к столу президиума, установленному рядом с экраном. Снова первым говорил Суслов, повторил вчерашние «дурацкие» обвинения. Сегодня для меня они звучали еще фальшивее. Потом встал отец.

– Нелегко мне приходится, – вдруг пожаловался он.

Зал насторожился.

– Даже в семье со мной не соглашаются, – продолжил отец. – Вчера мой сын Сережа целый вечер объяснял мне, что я заблуждаюсь. Верно? – Отец глянул в зал. – Он тут где-то сидит.

Все завертели головами, а я, донельзя смутившись, встал и достаточно громко пискнул: «Все равно фильм хороший». И сел. Зал загудел. (Я совсем забыл об этом эпизоде, но в 1999

году на презентации четырехтомника мемуаров отца в бывшем Институте марксизма-ленинизма Марлен Хуциев напомнил мне, что я единственный, кто пропищал слова в его защиту. И тут я все отчетливо вспомнил, все до деталей.)

– Вот видите? – почему-то радостно воскликнул отец и дальше «понес» (извините, другого слова я не нашел) такую же чушь, повторяя Суслова слово в слово.

Я пораился, обычно отец говорил, не очень заботясь о построении фраз, от себя, а тут как урок заученный повторял. Я и сейчас не могу найти разумного объяснения. Единственное, что приходит в голову: душой, печенкой он не принял произносимые им самим слова, а потому и собственных аргументов у него не находилось, он повторял то, что вычитал в справках. В такой же бездоказательной манере, раздражаясь при возражениях, он защищал Лысенко от «нападок» «вейсманистов-морганистов». И на сей раз отец поверил Суслову, как он поверил Лысенко и как заведенный дудел в дуду Михаила Андреевича.

В книге Станислава Рассадина «Самоубийцы» я вычитал, что неприятности у Хуциева начались, когда, еще до выхода фильма, не очень любимый идеологами писатель Виктор Платонович Некрасов в очерках о зарубежье мельком похвалил эпизод с отцом-призраком за то, что «режиссер не стал вытягивать на экран за седые усы старика-рабочего с его нравоучениями». В контексте того времени «похвала» звучала не просто раздражающе, но провокационно. Безобидные слова героев фильма обретали идеологизированный подтекст, о котором режиссер и не подозревал. Эти «седые усы рабочего» стали сущей находкой для сусловских идеологов. Отсутствующий в фильме «усатый рабочий» символизировал неблагонамеренность и неблагонадежность авторов фильма и кочевал тогда из справки в справку. Таким он представляется и современным писателям-либералам.

Я решил добраться до первоисточника, не поленился, пошел в нашу университетскую библиотеку, где без труда отыскал на полках переплетенные в тома «новомировские» сероголубые книжки за 1962 год. В 11 и 12-м номерах Некрасов опубликовал очерки о поездке в Италию и США на литературно-киношные фестивали и симпозиумы. Писал он в основном о западных писателях и кинорежиссерах, сравнивал их с нашими, походя упомянул фильм Хуциева «Застава Ильича». Позволю себе привести без купюр пассаж Некрасова о злополучных «усах»: «Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран всепонимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами, – и картина погибла бы. Хуциев и Шпаликов пошли по другому пути, более сложному... Комната вдруг превращается в блиндаж, и спят вповалку солдаты, и коптит на столе артиллерийская гильза, и отец с сыном пьют друг за друга. И сын говорит отцу:

– Я хотел бы быть с тобой в той атаке, что тебя убили.

– Нет, – говорит отец, – зачем? Ты должен жить.

– А как? – тогда спрашивает сын.

– Тебе сколько лет? – в свою очередь спрашивает отец.

– Двадцать три.

– А мне двадцать один.

От этих слов мурашки бегут по спине... Отец не дал ответа, он уходит, его ждут товарищи. И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносится машина, а они идут, идут. Идут, как шли в начале картины три других солдата, солдата революции, по улицам другой Москвы. Москвы семнадцатого года... И шаг их размеренный, гулкий, сменяется другим шагом... Красная площадь. Смена караула. Мавзолей. И надпись: «Ленин». Все линии (картины. – С. Х.), все узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше? А ответ один: так же, как и сейчас, в неустанных поисках ответа, поисках правильного пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос себе, друзьям, отцу, на Красной площади, ты жив. Кончатся

вопросы – кончишься и ты. Сытое благополучие, безмятежное и безвопросное существование – это не жизнь».

Не правда ли, большая разница между «докладной» (если таковая была) и очень «партийными» словами Некрасова. Приведи их «доносчик» полностью... Но Суслову и его людям, «валившим» Ильичева, требовался скандал, и они привычно манипулировали цитатами. Так же, как они в свое время поступили с «Доктором Живаго» Пастернака. Но тут появляется существенное отличие, книгу Пастернака отец не читал, а фильм Хуциева посмотрел. Но навязанного ему мнения не изменил. Не знаю почему. Заранее настроившись или будучи настроенным, он его по существу не увидел. Везде ему мерещились «усы», за которые Хуциев со Шпаликовым якобы волокут на экран его седого собрата-рабочего.

Я попытался понять, почему отец верил справке больше, чем собственным глазам? Все дело вновь упирается в доносы. Ох уж эти российские доносы! Некрасов жил в Киеве, по свидетельству современников, пил, почти не просыхая, пил в ресторанах, в гостях, на собственной кухне, и везде после второй рюмки честил всех без разбора: собратьев писателей и их Союз, власти вообще и Хрущева в частности. Среди собутыльников всегда находились профессионалы-информаторы или просто «доброхоты», доносившие «куда надо» о том, что было и о том, чего не было. Из-за этих доносов органы с идеологами и взялись за «Путевые заметки» прославленного автора книги «В окопах Сталинграда», затем вышли на фильм Хуциева и тут-то «усы рабочего» зазвучали совсем по-иному. Такая вот выстраивается логика, однако расследования увели нас слишком далеко от кинозала в Доме приемов, где происходило обсуждение «Заставы Ильича».

Остальные выступавшие, я абсолютно не запомнил кто, все заикнулись на «усах», на разные лады перепевали сказанное Сусловым и вслед за ним повторенное отцом. Наконец иссякли даже самые говорливые. Авторам порекомендовали фильм доработать. В 1965 году он вышел на экран, на мой непрофессиональный, зрительский взгляд, таким же, как и раньше. Только название поменяли с «Заставы Ильича» на «Мне двадцать лет». И эпизод с появлением призрака-отца пересняли, теперь перед исчезновением он произносил монолог-поучение.

Пишу я все это, и неудобно становится и за государственных солидных мужей, и за себя, и за все происходившее. Неужели все так было на самом деле? К сожалению, именно так. Анна Ахматова когда-то отметила, что люди счастливы в своем неведении, из какого сора рождаются стихи. Так и в политике – случайное стечение обстоятельств, чей-то донос, плохое настроение или пищеварение могут вызвать цепь событий с очень далеко идущими последствиями. Если бы не насморг Наполеона во время Бородинского сражения, в какой стране мы жили бы? Не знаю, но наверняка в иной. Если бы не маниакальное недоверие Сталина всем и всему, от писем Черчилля до донесений собственной разведки, то война бы повернулась по-другому или вообще не случилась.

Если бы... Если бы... Если бы...

Если бы отец нашел время, имел желание разобраться сам, а не с подачи Суслова, все бы развернулось иначе. Но не развернулось...

Совсем было пригасший после совещания в ЦК скандал разгорался с новой силой. Разговор в кинозале инициировал новое разбирательство 7–8 марта, теперь уже в Кремле. Напомню, что и предыдущую проработку пишущей, рисующей и снимающей братии Суслов тоже предлагал устроить в Кремле, чтобы громче прозвучало на весь мир, но отец тогда воспротивился и свел все к упомянутому обеду-разговору на Воробьевых горах. Михаил Андреевич сделал вывод, в список приглашенных включили более шестисот человек, такое количество участников совещания Дом приемов вместить не мог, и мероприятие перенесли в Свердловский зал в Кремле. Основным докладчиком и на этот раз назначили Ильичева.

Отец привык обсуждать темы ему знакомые, вникал в детали, перебрасывался замечаниями с сидевшими в зале легко узнаваемыми и давно знакомыми учеными, главными конструкторами, директорами заводов и совхозов, секретарями обкомов и райкомов. Будь это конструкторы самолетов и ракет Туполев или Глушко, селекционеры Ремесло или Лукьяненко, первые секретари ЦК компартий союзных республик Ульджабаев или Шелест, он помнил, чего каждый из них добился в прошлом или позапрошлом году, что обещал, что выполнил и чего не выполнил, знал, кому можно верить, а кого стоит поостеречься. Сопровождения превращались в диалоги, нарушавшие строгий, заранее утвержденный сценарий, но разговор велся по существу, с цифрами и фактами.

Отца, как и в предшествующих случаях, предусмотрительно снабдили списком и краткими характеристиками «нехороших» писателей. Но он их не запомнил. Он держал в памяти кое-какие имена молодых, к примеру, Евтушенко, но все остальные Аксеновы с Вознесенскими никак не корреспондировались со зрительными образами.

В Свердловском зале не оказалось ни одного знакомого лица, за исключением стариков: Твардовского, Эренбурга, Корнейчука и Василевской. Настроение отца испортилось заранее, он не чувствовал себя внутренне готовым к предстоящему разговору. Какой может получиться разговор, если не узнаешь в лицо того, с кем разговариваешь, и с большинством произведений, о которых пойдет речь, знаком только по справкам. Прочитать все отец просто физически не имел времени, как нет его ни у одного, по-настоящему занятого своим, важным делом, человека, неважно, политика, руководителя корпорации или генерала.

Тем временем приглашенные стекались в Кремль. «Последний акт заканчивался в круглом зале бывшего казаковского Сената в Кремле, – пишет Белютин. Двери хлопали. Я опоздал к началу, потому что приглашение получил в последнюю минуту. Здесь тоже проверяли пропуска и сверяли их с паспортами, но только менее театрально и более буднично. Какие-то записки передавались в президиум. Я узнал своего ученика Бориса Жутовского, принесшего нам черновик письма Хрущеву, он сидел в первом ряду. Маленькие глазки Хрущева бегали по рядам и следили за всеми одновременно. У него, безусловно, был талант проводить совещания и собрания».

«Пришел я в Кремль, в Свердловский зал, – вспоминает Ромм, – те же люди, только вдвое больше народу. Зал идет амфитеатром, скамьи. А напротив, на специальном возвышении, места для президиума, трибуна для выступающего. Аккуратный, красивый, холодный зал.

Расселись все. Ясно было, что идет продолжение. Посидели-посидели – вышел Президиум ЦК. Хрущев, за ним остальные. Козлов, аккуратно завитой, седоватый, холодный. И Ильичев. Встали все, ну, поаплодировали друг другу. Сели. Тишина. Настороженная тишина. Ждем.

Встает Хрущев и начинает: “Вот решили мы еще раз встретиться с вами, вы уж простите, на этот раз без накрытых столов, без закусок и питья. Мы было хотели снова собраться на Ленинских горах, но там места мало, больше трехсот человек не помещается. Мы решили на этот раз внимательно поговорить, чтобы побольше народу послушать, так что пришлось собраться здесь. Но в перерывах тут будет буфет – пожалуйста, покусайте”.

Опять начинает как благодущный хозяин. “Погода, – говорит, – сейчас, к сожалению, плохая. Зима, промозгло так, не способствует она сердечности атмосферы. Ну, ничего, поговорим зато серьезнее. Но вот следующую встречу мы намечаем провести в мае или июне, солнышко будет, деревья распустятся, травка – тогда уж мы встретимся по-сердечному, тогда разговор будет веселее. Но сейчас приходится по-зимнему”».

Отец имел в виду, намеченный на май, Пленум ЦК по идеологии, где он собирался сделать основной доклад и окончательно расставить точки над «и».

«Помолчал. – Я снова возвращаюсь к воспоминаниям Ромма. – Потом вдруг, без всякого перехода:

– Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал. Молчание. Все переглядываются, ничего не понимают: какие осведомители?

– Я повторяю: добровольные осведомители иностранных агентств, выйдите отсюда. Молчим.

– Поясняю, – говорит Хрущев. – Прошлый раз после нашей встречи на Ленинских горах, на завтра же зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, холуи буржуазной прессы! Нам холуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомители иностранных агентств, уходите. Я понимаю: вам неудобно так сразу встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?»

Согласно стенограмме, зал отреагировал «бурными аплодисментами».

Сталинские времена уходили в прошлое, общение с западными журналистами перестало квалифицироваться как преступление и шпионаж, за которым следовал арест, и писатели, особенно молодые, художники, в первую очередь модернисты, охотно давали интервью. Всем им хотелось известности в мире. «Органы» этим контактам не препятствовали, но скрупулезно их фиксировали. Появлявшиеся в западных изданиях сообщения переводились и попадали на стол отцу с комментариями Суслова. В них и необходимости особой не возникало, корреспонденты западных изданий сами подавали все с идеологизированных позиций; по их мнению, произведения «модернистов-художников» – это политический протест против не просто социалистического реализма, а против социализма вообще, попытка подкопа под государственные устои Советского Союза. Информацию о совещаниях в Доме приемов и в ЦК подавали под тем же соусом – как противостояние критиков и сторонников социалистического строя, а не как столкновение приверженцев различных направлений в искусстве. О большем подарке от своих противников Суслов и мечтать не мог.

В данном случае я на стороне отца, он говорил с ними как с единомышленниками, пытался их понять и надеялся, что они его понимают, не сомневался, что они – одна команда. И на тебе, кто-то тут же побежал на него жаловаться! И кому? Американцам!

«Ильичев произнес трафаретные вступительные слова, мало отличавшиеся от его докладов в Доме приемов и на идеологической комиссии в ЦК в прошлом декабре, – продолжает Ромм. – Следом началось обсуждение. Ну а потом пошло, пошло – то же, что на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Щипачеву слова не дали. Мальцев попробовал было что-то вякать про партком Союза писателей, на который особенно нападали, но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить. Эренбург молчал, остальные молчали, а говорили только вот те – грибачевы, софроновы, васьевы⁷⁸ и иже с ними. Говорили, благодарили партию и за помощь. Благодарили за то, что в искусстве наконец наводится порядок и что со всеми этими бандитами (иначе их уже не называли абстракционистов и молодых поэтов), со всеми этими бандитами наконец-то расправляются».

Согласно стенограмме, на совещании в Кремле не выступали ни Эренбург, ни Щипачев, ни Грибачев, ни Софронов, ни Васильев. Под этими фамилиями Ромм, по-видимому, подразумевает не конкретных лиц, они олицетворяют противоборствующие группировки, уходящие своими корнями в начало Серебряного века. И тогда они смертельно враждовали между собой. В 1930 годы вражду «утихомирил» Сталин, одних приветил, других сослал, и все сразу приутихло. Сейчас она разгоралась с новой силой. Об истоках этой вражды отец

⁷⁸ О каком Васильеве говорит Ромм, не знаю, в БСЭ три Васильевых-писателя, скорее всего, он имеет в виду Сергея Александровича Васильева, поэта, автора сатирических стихов, пародий, поэтической трилогии «Портрет партизана».

не знал почти ничего. Литературными и иными течениями Серебряного века он, как и большинство населения страны, не интересовался. И вот теперь ему, первому лицу государства, предстояло по наитию вырывать в бурном море чужих страстей и амбиций. Ощущая свою беспомощность, отец все более мрачнел и раздражался. Тем временем совещание катилось по заранее проложенным Суловым рельсам.

«Где бы мы в Европе ни бывали, всюду находили следы поездок этих молодых людей, которые утешают весь мир. Утешают и всюду болтают невесть что и наносят нам вред, – сказал кто-то из этих», – под этими Ромм имеет в виду писателей из противостоящей группировки.

«Молодые люди» действительно не вылезали из зарубежных поездок, их, в отличие от «стариков», охотно приглашали и в Европу, и в Америку, и в Японию, они легко сходились с аудиторией, бойко отвечали на вопросы журналистов, всё больше печатались на Западе, что, естественно, вызывало зависть, как профессиональную, так и просто человеческую. Я уже писал, что на декабрьское совещание в ЦК молодой писатель Аксенов прилетел напрямик из Токио.

Евтушенко в начале 1963 года на короткое время заскочил в Москву по пути из Гаваны в Европу. Там, как он пишет сам: «Наши пути пересеклись с Катаевым в Париже. Я тогда купался в неосторожной славе после выхода во французском еженедельнике “Экспресс” моей “Автобиографии”... К моему восторгу я оказался в Париже знаменитее и богаче Катаева».

Евтушенко заплатили гонорар наличными, Катаев же существовал в Париже на скромные советские «суточные». Любивший пустить пыль в глаза, Евтушенко устроил своему старшему собрату-писателю в Париже настоящий «кутеж», продемонстрировав на деле, кто есть кто теперь. Евтушенко пробыл в Париже три недели. До того он провел месяц в Западной Германии.

«Общей темой было, что нет у нас противопоставления поколений, дружно у нас работают оба поколения и мерзавец тот, кто заявляет, что есть два поколения, – свидетельствует Ромм. – И говорили это всё, главным образом, старцы, и при этом рубали на котлеты более молодых. Вот так шло это заседание.

Шолохов вышел, помолчал, маленький такой, чуть полнеющий, но ладно скроенный, со злым своим, незначительным лицом.

– Я согласен, говорить нечего, я приветствую, – коротко сказал он, повернулся и сел.

Так прошел этот первый день на одной ноте, контрапункта не было. Не было такого, что выступает Грибачев, а ему отвечает Щипачев. Выступает такой-то, а ему отвечает Эренбург. Все в одну трубу.

Запомнил я лицо Козлова. Сидел он, не двигаясь, не мигая. Прозрачные глаза, завитые волосы, холеное лицо и ледяной взгляд, которым он медленно обводил зал, как будто бы все время пережевывал этим взглядом собравшихся. Так холодно глядел. А Хрущев все время кипел, все время вскидывался, и Ильичев ему поддакивал, а остальные сидели неподвижно.

Пришлось в этот первый день выступать и мне. И опять выяснилась на этом выступлении какая-то удивительная сторона Хрущева. От меня ждали покаянного выступления. Поэтому едва я записался, мне тут же дали слово. Я даже не ожидал, – моментально.

Я вышел и с первых слов говорю: «Вероятно, вы ждете, что я буду говорить о себе. Я прежде всего хочу поговорить о кинофильме Хуциева»».

Дальше Ромм подробно пересказывает, уже известную нам историю о призраке отца-солдата и его разговоре с сыном. Пытается объяснить в чем там смысл. Хрущев с Роммом не соглашается.

«Стали мы спорить. Я слово, он – два, я слово – он два, – продолжает Ромм свой рассказ.

– Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться! – наконец я ему говорю.

– Что я, не человек, свое мнение не могу высказать? – обижается он.

– Вы – человек, и притом первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать. Мне и так трудно, – я ему в ответ.

– Ну вот, и перебить не дают, – стал сопеть обиженно».

В заключение своего выступления Ромм описывает, как он отстаивал независимость Союза кинематографистов и Комитета по кинематографии. Энергичная и властная Фурцева, став министром культуры, попыталась подмять под себя, забрать в свое министерство не только кинематографистов, но и все остальные творческие союзы. Суслов ее поддержал. Так ему легче их контролировать. Отец им не «не сочувствовал», но и вопроса «не чувствовал», колебался.

«После меня, – продолжает Ромм, – выступил Чухрай, он хорошо уловил необходимый тон. Начал он с того, как рубал абстракционистов в Югославии, как держался, а закончил так же: что нужно сохранить Союз кинематографистов».

Ромм с Чухраем добились своего, творческие союзы и Комитет по кинематографии выжили. Суслов с Фурцевой уже подготовили все бумаги, оставалось только подписать у Хрущева. После мартовского совещания он их подписывать отказался.

Кроме упомянутых Роммом ораторов, в первый день еще выступили: критик Владимир Ермилов, поэты Сергей Михалков, Александр Прокофьев, Андрей Малышко, Петрусь Бровка, Екатерина Шевелева, Роберт Рождественский, писатель Леонид Соболев, композитор Тихон Хренников, художники Аркадий Пластов и Борис Иогансон, скульптор Эрнст Неизвестный, всего пятнадцать человек.

«Первый день показался не очень страшным, – пишет Ромм. – И вот наступил день второй. Пришли мы в тот же зал, те же люди сели на прежние места. Вошел президиум, вышел добрый, веселый, полный жизненных сил Хрущев, за ним все остальные. Постояли, поаплодировали, сели. Козлов уставился своими ледяными глазами в зал, приготовился жевать его взглядом.

Хрущев начал очень весело: “Ну что же, товарищи, должен сказать вчерашнее предупреждение подействовало. Ничего не просочилось. Вчера были приемы в некоторых посольствах, так просто из осторожности, очевидно, не явился почти никто. Ну-с, давайте продолжать”.

Ну, начали продолжать. Все та же жвачка, родство поколений, спасибо Никите Сергеевичу, искусство питается соками народа, – все остальное так и пошло, шло, шло...»

Стенограмма не подтверждает впечатления Ромма, первый день прошел рутинно, а во второй... Но давайте по порядку.

Первой предоставили слово писательнице Ванде Василевской. Ромму она не нравится, а ее выступление он назвал «элегантным доносом. Ей польские партийные товарищи с возмущением сообщили, что Вознесенский вместе с группой молодых поэтов в Польше давал интервью, и ему задали вопрос, как он относится к старшему поколению? И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали; для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский – современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам, он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. Ну, и из-за этого разгорелся грандиозный скандал».

На самом деле польских «партийных товарищей» Ахмадулина с Пастернаком не интересовали, у них своих проблем хватало, и нажаловались они на Вознесенского, а заодно и на Евтушенко с Аксеновым за то, что, не зная обстановки, они вмешиваются во внутренние дела страны. Думаю, что так оно и было, только молодые литераторы «вмешивались» без злого умысла, говорили не о политике, а о себе самих и своих польских друзьях, которые, естественно, не чурались своих, внутривосточных, политических разбирательств.

Теперь о доносе. Выступление Ванды Василевской – донос только в понимании Ромма и его группы, она же занимала принципиальную, в ее понимании, позицию. С тех же позиций она писала свои книжки в Польше, за которые в 1930-е годы Юзеф Пилсудский посадил ее в тюрьму. Уж очень она ему досадила, если он решился на такое в отношении собственной крестницы, дочери ближайшего соратника и друга пана Василевского. Из тюрьмы Ванда бежала, перебралась нелегально в Советский Союз, поселилась в Киеве, вышла замуж за Александра Корнейчука, любимца Сталина, в те годы, наверное, самого популярного драматурга, автора пьес «Гибель эскадры», «В степях Украины» и «Платон Кречет». Их ставили во всех театрах Советского Союза.

В Киеве отец сдружился с Василевской и Корнейчуком. Во время войны они встречались в Сталинграде, в Москве. Корнейчук тогда по поручению Сталина писал пьесу «Фронт» о плохих «устаревших» и хороших «молодых» командующих фронтами. Василевская тоже опубликовала пронзительную повесть «Радуга» о немецких зверствах на оккупированной земле.

Ванда Львовна – женщина-камень, ростом под два метра, худая, угловатая, носатая, с вечно дымящей папирсой, говорила отрывистым командирским голосом с сильнейшим польским акцентом. Она никогда никому ни на кого не доносила, ни Пилсудскому, ни Сталину, ни Хрущеву. Говорила, что думала и как думала, тоже не оглядываясь на слушателя, кто бы то ни был. Сталин ее просто не успел посадить, она пришла к нам в 1939 году, когда на время репрессии затухли, и жила в Киеве под пусть иллюзорной, но хоть какой-то защитой отца.

Для отца, в отличие от Ромма, выступление Василевской совсем не выглядело доносом, а отражало ее принципиальную позицию, которую он ценил и к которой прислушивался. Зря она болтать не станет.

Что же касается сравнения Беллы Ахмадулиной, тогда еще девчонки, с Пушкиным – то этот чистейшей воды эпатаж. Сам Вознесенский вспоминал, что не только Ванда Львовна поминала его недобрым словом. «Особенно усердствовал против меня поэт Андрей Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши...⁷⁹ околачивать, согласно соленой присказке. Александр Прокофьев обличал мою непартийность: “Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!” Этими воплями они заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет», – пишет Вознесенский.

«Заранее объявлено было, что после Василевской выступает скульптор Налбандян,⁸⁰ – я снова возвращаюсь к записям Ромма. – Однако едва Мадам – так Ромм неприязненно именуется Василевскую, – закончила свою высокоидейную речь, как встал Хрущев и говорит: “Что же, товарищи, тут вот должен выступить Налбандян, но, может быть, мы попросим у него извинения, немножко отложим его слово, а послушаем сейчас товарища Вознесенского, а?”».

Итак, поэта Вознесенского неожиданно пригласили на трибуну объясняться.

«Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически, – описывает Андрей Андреевич свои ощущения. – Сталин – сакральный шоумен эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же – шоумен эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хеппенингов. Хрущев восхищает меня как стилист. И когда глава державы сделал вид, что вдруг проснулся и странным высоким толстяковским голосом потребовал меня на трибуну, я бодро взял микрофон.

⁷⁹ Согласно стенограмме, Малышко и Прокофьев выступали в первый день совещания. «Треугольная груша» – очень раздражавшее в те годы собратьев-писателей и поэтов название вышедшего в 1962 году стихотворного сборника Вознесенского и ставшее как бы его символом, наподобие «Желтой кофты» Маяковского.

⁸⁰ Ромм перепутал, Налбандян Д. А. не скульптор, а живописец.

Повторяю, он был еще нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему как на духу о положении в литературе, надеясь, что он все поймет».

Однако Хрущев Вознесенского понимать не захотел. По его мнению, поэт явно заслуживал выволочки. О том свидетельствовали и сусловская справка о негодном поведении за границей, и слова весьма авторитетной для отца Ванды Львовны. Но, как отметил сам Вознесенский, Хрущев – не Сталин. Последний бы позвонил поэту накануне вечером домой, вкрадчиво поинтересовался бы, чем его Советская страна не устраивает, посетовал бы, что товарищи жаждут его, Вознесенского, крови, а он, Сталин, колеблется. Могу себе представить выступление Вознесенского после такого собеседования.

Отец же, чуждый иезуитства, не штудировавший, как Сталин, Макиавелли, под влиянием минуты решил «по-отцовски» выговорить «несмышленишу» Вознесенскому. Но сорвался, очень уж подействовали на него слова Василевской. Сорвался и вместо поучений устроил скандал.

«Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло, – недоумевает Ромм. – Вознесенский сразу почувствовал, что дело будет плохо, и поэтому начал робко, как-то неуверенно».

– Как и мой учитель, Владимир Маяковский, я не член Коммунистической партии... – согласно стенограмме, только эти слова и успел произнести Вознесенский, как отец взорвался.

– Почему вы афишируете?... «Я не член партии!» Вызов бросает! Сотрем всех, кто стоит против Коммунистической партии. Бороться, так бороться! У нас есть порох! – выкрикивал он под аплодисменты и шум в зале.

«Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва, да и никто не ожидал, – так это произошло внезапно. Мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает», – пишет Ромм.

Отец обрушился не на поэта Вознесенского, он спорил с Вознесенским-политиком. Сердитое лицо, выброшенная вперед рука, сжатый кулак, – все это приемы революционных ораторов домикрофонной эры. Таким его запечатлели в тот момент кино- и фотохроника. Такой образ Хрущева и стал расхожим. Далеко не лучший и абсолютно не соответствующий истинной сущности отца. Я, как и Ромм, не понимаю причин столь бурно-эмоциональной реакции. Вернее, мы не знаем и не узнаем истинных причин. Но явно дело не в словах, произнесенных самим Вознесенским и даже не в выступление Василевской. Кто-то подготовил отца, настроил его, что речь идет не о поэзии и даже не о болтовне фрондирующей молодежи, а о чем-то более значительном. О чем, остается только гадать, как и о том, кто это все подстроил. Хотя последнее нам доподлинно и неизвестно, но угадать автора особого труда не представляет.

Вознесенский растерялся, он явно не ожидал ничего подобного, а Хрущев тем временем продолжал наседать на него.

– Вы представляете наш народ или вы позорите наш народ? – вопрошал он из президиума.

– Никита Сергеевич, простите меня, – пытался вставить слово поэт.

– Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! – перебил его отец и, немного остывая, добавил: – Ишь, какой – «Я не член партии!» Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, здесь либерализму места нет, господин Вознесенский.

То, что его называли «господином», Вознесенского окончательно перепугало, вдруг его действительно вышлют за границу, и он пролепетал: «Я здесь хочу жить!»

Теперь я оторвусь от стенограммы и вернусь к воспоминаниям Ромма и самого Вознесенского.

«А если вы здесь хотите жить, так чего ж вы клеветеете?! Что это за точка зрения из сортира на советскую власть! – такими запомнились Ромму слова Хрущева.

– Я честный, я за Советскую власть, я не хочу никуда уезжать, – продолжал говорить Вознесенский.

– Слова все это, чепуха, – машет рукой Хрущев.

– Я вам, разрешите, прочту свою поэму “Ленин”, – невпопад отвечает поэт».

Здесь Ромм явно путает. Согласно стенограмме, Вознесенский начал декламировать поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Собственную поэму о Ленине он напишет только через полгода.

«Стал читать он поэму “Ленин”. Читает, но не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу двигает. Рядом с ним холодный Козлов, Ильичев, который что-то на ухо Хрущеву шепчет, – описывает происходившее Ромм. – Вознесенский что уж он там пробормотал, не знаю, не помню, и Хрущев заканчивает так:

– Вот что я вам посоветую. Знаете, как бывает в армии, когда поступает новобранец негодный, не умеющий, неспособный? Прикрепляют к нему дядьку, в былое время из унтер-офицеров, а сейчас из старослужащих солдат. Так вот, я вам посоветую такого дядьку. Возьмите-ка в дядьки к себе Грибачева. Он верный солдат партии, он вас научит писать стихи, научит уму-разуму. Товарищ Грибачев, возьметесь обучить Вознесенского?

– Возмусь! – выкрикивает с места Грибачев».

Я уже писал, Николай Грибачев, поэт и главный редактор журнала «Советский Союз» располагался на самом крайнем фланге группировки, противостоявшей группировке, в которую входил Вознесенский. Но угроза отца никогда не реализовалась. Грибачев остался в своем стане, а Вознесенский – в своем.

Зал, по словам Вознесенского, в эти минуты скандировал: «Позор! Долой!».

«Метнувшись взглядом по президиуму, я (Вознесенский. – С. Х.) столкнулся с пустым ледяным взглядом Козлова. И он, и все остальные члены президиума глядели как бы сквозь меня. И тут, бранясь, Хрущев, видимо, назло залу или машинально назвал вдруг меня “товарищ Вознесенский”. А может быть, за несколько минут чтения поэмы он вынужден был помолчать и понял, что перебрал? Взмокший вождь с досадой нацепил свою маску и процедил: “Работайте”».

Вспотевший Вознесенский покинул трибуну, не оправдавшись и не защитившись. Конечно, отец понял, что перебрал, очень на себя рассердился, но остановиться не смог и в пылу затеянного им же скандала обрушил гнев на голову «сообщника» Вознесенского – Василия Аксенова, тоже фигурировавшего в справке Суслова. Ориентируясь по лежавшей перед ним «рассадке» людей в зале, он представлял, где приблизительно должен сидеть Аксенов, но в лицо его, естественно, не знал. Поэтому, взглянув в подсказанном направлении, он остановил взгляд на чем-то ему знакомом молодом человеке, как потом оказалось графике Илларионе Голицыне, «сидевшем на виду президиума в красной рубашке и недовольно шептавшемся с соседями», – так написал о завязке этого эпизода Белютин.

Голицын мелькал в Манеже, затем в Доме приемов и примелькался, но кто он и откуда, отец так и не понял. Сейчас же непоседливость Голицына его снова взорвала.

– А вы что скалите зубы? Вы, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке! Вы что зубы скалите? Подождите, мы еще вас выслушаем, дойдет и до вас очередь! Кто это? – такими запомнились Ромму слова Хрущева.

– Аксенов, – ему кричат.

– Ах, Аксенов? Ладно, послушаем Аксенова, пожалуйста сюда.

– Я? – встает какой-то человек в задних рядах.

– Да нет, рядом.

– Я? – встает другой.

– Вы, вы, вы!

Идет по проходу человек в очках, в красной рубашке под пиджаком, без галстука. Незнакомый никому, худенький такой человек.

Ну, тут всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Лев Толстой здорово описал в «Войне и мире», там Ростопчин призывал убить купеческого сына, и толпа, сначала не решалась, а потом, друг друга заражая жестокостью, стала делать дело.

Идет этот человек по проходу, а на него кричат: «Негодяй! Красную рубашку в ЦК надел!», «Пришли в Кремль разодетые, как индюки!» – эти выкрики запомнил Ромм, они же зафиксированы в стенограмме.

«У меня нет другой», – согласно Ромму, пробормотал человек в очках.

– Иди, иди, отвечай за свои дела!

Со всех сторон вскакивают какие-то смирновы, какие-то васильевы, какие-то рожи.

Выходит он.

– Вы – Аксенов? – Хрущев спрашивает.

– Нет, я не Аксенов, – отвечает.

– Как не Аксенов? Кто вы? – Недоумевает Хрущев.

– Я... я – Голицын!

– Что, князь Голицын?

– Да нет, я не князь, я... я – художник Голицын, я... художник-график... я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать...

– Не надо! Ну, говорите, – осекся Хрущев.

– А что говорить? – не понимает тот.

– Как – что? Вы же вышли, так и говорите! – теперь уже удивился Хрущев.

– Я не знаю, что говорить... я... не собирался говорить, – мнется Голицын.

– Но раз вышли, так говорите, – не знает, как выбраться из неудобного положения Хрущев.

Голицын молчит.

– Но вы понимаете, почему вас вызвали?

– Да... нет, я не понимаю... – говорит Голицын.

– Как не понимаете? Подумайте.

– Может быть, потому, что я стихотворению товарища Рождественского аплодировал или Вознесенского?

– Нет.

– Не знаю.

– Подумайте и поймете.

Голицын молчит.

– Ну, говорите.

– Может быть, я стихи почитаю? – спрашивает Голицын.

– Какие стихи? – удивился Хрущев.

– Маяковского, – говорит тот.

И тут в зале раздался истерический смех. Сцена эта делалась уже какой-то сюрреалистической, это что-то невероятное: этот художник-график, который не знает, что говорить, и Хрущев, который «споткнулся», думая, что это Аксенов».

Действительно, представление почти в драмах абсурда Эжена Ионеско, даже абсурдней. Если, конечно, на время забыть, что все происходило в Кремле и всем, особенно, стоявшим на трибуне, было совсем не до шуток.

«Когда Голицын сказал “Маяковского”, Хрущев (судя по воспоминаниям Ромма. – С. Х.) отреагировал: “Не надо, идите”».

Голицын пошел на место и вдруг обернувшись, спросил:

– Работать можно?

– Можно, – отвечает Хрущев. Ушел Голицын.

– Вы извините, товарищ Налбандян, мы отложим ваше выступление. Давайте сюда товарища Аксенова, – говорит Хрущев.

Дело в том, что Голицын-то сидел рядом с Аксеновым, вот из-за чего недоразумение-то произошло. Вышел Василий Аксенов.

– Вам что, не нравится Советская власть? – с места в карьер на него обрушился Хрущев.

– Да нет, я стараюсь писать правду, то, что думаю, – отвечает.

– Ваш отец был репрессирован? – говорит Хрущев.

– Мой отец посмертно реабилитирован, – отвечает Аксенов.

– Это он научил вас ненавидеть Советскую власть и клеветать на нее?

– Я ничего дурного от отца не слышал. Мой отец был членом партии, верным коммунистом».

Я вынужден поправить Ромма. Отец Аксенова выжил и после реабилитации в 1956 году вернулся к нормальной жизни. Вот как сам Василий Павлович воспроизводит свой ответ в полухудожественной-полумемуарной книге «Таинственная страсть»: «Мои родители в 1937 году были приговорены к большим срокам лагерей и ссылки...» Далее автор высказывает догадку, на мой взгляд совершенно верную, что его отца «вообще-то приговорили к смертной казни без права обжалования, однако спустя три месяца в камере смертников этот приговор заменили на пятнадцать лет лагерей и три года ссылки. В ЦК при подготовке материалов по Аксенову использовали только список казней».

...– Через восемнадцать лет их реабилитировали, и они вернулись. Восстановление нашей семьи мы связываем именно с вашим именем, Никита Сергеевич, – произнес эти слова, Аксенов повернулся к Хрущеву.⁸¹

После этих слов отец, согласно стенограмме, заговорил в совершенно ином, примирительном тоне и, наконец, отпустил его с трибуны.

Вообще-то в своей книге Аксенов многое понавыдумывал и не скрывает этого, поэтому он и назвал ее романом, а не мемуарами. Но в этом пассаже, мне кажется, верить ему можно.

«Выступление Налбандяна все откладывалось, – продолжает Ромм. – Вы что, захотели клуба Петефи? Не будет этого! Знаете, как в Венгрии началось? Все началось с Союза писателей. Там организовался клуб Петефи, а потом началось восстание. Так вот, не будет вам клуба Петефи, не допустим», – запомнилась Ромму реплика Хрущева.

В шестидесятые годы тень «клуба Петефи» незримо витала над головами и политиков, и писателей.

Все ожидали, что теперь на трибуну вызовут Евтушенко, но отец промолчал, и после Аксенова совещание постепенно входило в рутинную колею. Выступил секретарь парткома Московского отделения Союза писателей Е. Ю. Мальцев, затем писатель-почвенник В. А. Смирнов и композитор А. Г. Арутюнян.

Затем слово дали писателю Кочетову, в то время одно его имя вызывало гнев у прогрессивных, без кавычек, интеллигентов, особенно молодых, он им отвечал тем же. Ему очень хотелось вновь раскалить обстановку, руками отца уничтожить своих врагов, от Евтушенко до Эренбурга.

– Нашу литературу на Западе никто не знает. Знают имена Евтушенко и Вознесенского, стихов их не знают, знают только, что вокруг них происходит. У них надежда, не сокрушат ли они советскую власть, – согласно стенограмме возмущался Кочетов, краем глаза следя за

⁸¹ В. П. Аксенов. Таинственная страсть: Роман о шестидесятниках. М.: Семь дней, 2009. С. 130.

реакцией отца. Это ему плохо удавалось. Трибуна стояла впереди президиума, а откровенно вертеть головой он не решался.

Затем он пожаловался, что «там» его постоянно одолевают вопросами о Пастернаке. Но отца будто подменили, на слова Кочетова он не отреагировал, не завелся, а по поводу Пастернака бросил реплику:

– Если бы мы издали «Доктора Живаго», то никакой Нобелевской премии он бы не получил.

Кочетов разочарованно пожал плечами, но не сдавался.

– Вот посмотрите, в «Новом мире» напечатана «замечательная штука» под названием «Вологодская свадьба». Когда ее читаешь, просто жуть берет, там одни пьянки, дураки, идиотизм... «Смелычаки» пишут, «смелычаки» печатают, – он, редактор журнала «Октябрь», жаловался на своего давнего неприятеля, редактора «Нового мира» поэта Твардовского.

Хрущев и эти его слова пропустил мимо ушей. Кочетов окончательно расстроился, скомкал конец выступления и покинул трибуну.

После Кочетова выступил скульптор Азгур. О чем он говорил, никто не запомнил.

Дальше Ромм пишет, что «наконец-то, слово представили Налбандяну. Он отложил очередной эскиз и вышел на трибуну. Выступление его было простейшее. Дело в том, что он просто хотел поблагодарить Никиту Сергеевича за то, что с него сняли «оковы». А оковы заключались в том, что он изображал Сталина и поэтому чувствовал себя все время виноватым. А вот сейчас эти оковы наконец сняты, он себя виноватым больше не чувствует. Спасибо.

Ну а в подтверждение того, что он себя виноватым не чувствует и что оковы с него, так сказать сняты, он все время, пока его речь откладывалась, рисовал наброски с президиума, отдельно Хрущева, и выступающих, выступающих. Очевидно, готовил большое новое полотно: встреча интеллигенции с партией и правительством. Но как-то, очевидно, не успел закончить это полотно, так как Хрущев был преждевременно снят».

Налбандян Ромму явно несимпатичен, а мне так очень. Налбандян прекрасный художник-профессионал. У меня на стене висит его миниатюра «Ленин в Разливе», он ее когда-то подарил отцу, а от него она перешла ко мне. И дело тут не в том, кто нарисован, а как. Все в ней на месте и свет, и тени, и сам человеческий образ. Написал Налбандян и портрет отца, наверное, единственный его хороший портрет. Сейчас, насколько я знаю, он хранится в музее Современной истории в Москве.

«После перерыва последовало заключительное слово Хрущева. Начал он, помнится, с того, что стал извиняться, что погорячился, покричал, ну, мол, не обессудьте, дело важное, и погорячиться можно, – это цитата из Ромма. – Потом стал объяснять нам, что такое хорошее искусство, на образных примерах. Вот такое...

– Вот идешь зимой ночью по лесу. Лунная ночь. Снег лежит голубой, сосны, ели в снегу, глядишь – какая ж красота! И думаешь: вот это бы кто-нибудь нарисовал. Так ведь не нарисуют же, а если нарисуют, так не поверят, скажут: так не бывает! А ведь бывает в жизни эта красота. Зачем же ходить в сортир за вдохновением?

Потом перекочевал на тему об антисемитизме и об Эренбурге.

– Здесь товарищ Эренбург?

Но товарищ Эренбург уже ушел. На нем уже верхом проскакал и Ермилов, и другие, и столько его поминали, что старик не выдержал.

– Нет Эренбурга? М-да».

Уход Эренбурга отца расстроил, он его ценил, хотя и спорил с ним, и не раз нападал на него. То, что Эренбург вот так взял и ушел, он расценил как дурной знак.

Здесь я на время расстанусь с Роммом и предоставлю слово Белютину: «Свое заключительное слово, длившееся более двух часов, Хрущев начал, повторяя то, что говорил в

перерыве, расхаживая по фойе: «Вот вы говорите, что сейчас плохо, но вот вы выступаете и не соглашаетесь с секретарем ЦК Л. Ильичевым, и вам ничего. А попробовали бы так при Сталине!»

Его речь повторяла объявление войны всяким новым поискам художников, объявляла Лактионова, Вучетича и им подобным фотографов образцами соцреализма (термин, которым за несколько лет до Манежа отец почти перестал пользоваться. – С. Х.). Шишкин, Айвазовский, оптические художники XIX века также ставились в пример экспериментаторам, «модернистам и абстракционистам», под которыми подразумевались мы».

Хрущев, по-видимому, чувствовал недовольство аудитории. Он всячески старался показать, что и он живой человек, более того, его при Сталине едва не осудили, и вот теперь он самый первый коммунист на земном шаре. Тут Хрущев взглянул на часы, вспомнил, что сегодня 8 Марта, Женский день, скоро в Большом театре открывается торжественное заседание, и им, президиуму, полагается на нем присутствовать».

Отец поздравил присутствовавших в зале женщин с праздником, и все разошлись – одни домой договаривать, доспоривать, другие – в Большой театр.

8 марта 1963 года Суслов, его «наследники Сталина», руководители союзов, как им казалось, окончательно победили, молодые более не смели покуситься на их власть: ни «ильичевцы» на партийную, «ни «белютинцы» с «евтушенками» – на творческую. Об отмене цензуры уже никто и не заикался. Намеченному на лето Пленуму ЦК, по их замыслу, предстояло победу закрепить в обязательной для исполнения резолюции.

Я, как вы помните, не принадлежал ни к одной из «стай», жил в своем инженерно-ракетном измерении, но симпатии наши принадлежали Ромму – Белютину – Евтушенко. Нам они казались правильнее. Не художественно правильнее, а просто правильнее. И поныне мы смотрим в прошлое однобоко, глазами их «стай». Так уж получилось.

Не следует преувеличивать значение совещания 7–8 марта 1963 года. Для его участников, от Ромма до Кочетова, – это событие знаковое, для отца – одно из рутинных. Уже 12 марта, тоже в Кремле, он заслушивает руководителей территориальных сельскохозяйственных управлений, выступает сам. Затем отправляется с инспекцией по вводимым в строй предприятиям химической промышленности. Ну и, естественно, ежедневные приемы делегаций, встречи с иностранцами, рабочие совещания со своими, интервью.

«Конфуз» в Свердловском зале Кремля отходил в прошлое, забывался и одновременно постоянно напоминал о себе. Отец начинал осознавать, что он с подачи Суслова вляпался. Он еще не понял, что его подставили и кто его подставил, но на настойчивые призывы Михаила Андреевича решительно покончить с крамолой реагировал вяло. Принимать какие-либо «меры» в отношении «молодежи» категорически отказался. Более того, практически сразу после совещания в Кремле Евтушенко собрались отправить в заграничное турне, сначала в Италию, а оттуда, по приглашению Принстонского университета, – в Америку. После «проработки» на самом высоком уровне – неслыханное по меркам того времени решение, более того, поощрительное решение, и готовил его Ильичев. Другое дело, что у него не получилось сделать, как он намеревался. Секретариат правления Союза писателей посчитал эту командировку нецелесообразной, нажаловался Суслову, и Леониду Федоровичу не оставалось ничего иного, как «согласиться».

А вот Аксенов, как ни в чем не бывало, улетел в Аргентину: в Буэнос-Айресе демонстрировался советский кинофильм, снятый по мотивам его повести «Коллеги».

Скандал явно шел на убыль, но совсем не затух. Последний, зафиксированный документально, отзыв мартовского обсуждения в Кремле прозвучал на заседании Президиума ЦК 25 апреля 1963 года. В тот день обсуждали детали соглашения о контроле ядерных испытаний, ответ на послания американского президента Кеннеди и британского премьер-министра Макмиллана, но разговор вдруг перекинулся на кино, потом на вызвавшие в Москве

массу толков постановки «Ревизора» в Малом театре и «Марии Стюарт» во МХАТе. Помянули и роман «Лес» Леонида Леонова. Отцу он показался нуднейшим. «Когда я читал, то чтобы не заснуть, весь исципал себя до синяков и то только первый том осилил, – пожаловался он. – Взял вторую часть, и никак не идет».

Затем отец вспомнил недавно опубликованную в «Известиях» статью Константина Паустовского. В ней писатель сетовал, что на берегу Оки, поблизости от Тарусы, где он жил на даче, начали добывать гравий и карьер никак не вписывается в Приокский ландшафт. Паустовский предлагал брать гравий где-то поодаль, он даже место указал и заметил, что там он всего на 2 копейки дороже. Отец не согласился. «Что такое 2 копейки в миллионах кубометров? – возмущался он в свою очередь. – На сколько меньше квартир народ получит?»

Заговорив об экономии и растранижении средств – эта тема отцу не давала покоя, – он от писателя Паустовского и карьера по добыче гравия перекинул мостик вообще к писателям и писательству, посетовал, что «мы сейчас всё печатаем, а не такие мы богатые, чтобы печатать всё, что выдумывают. Надо навести порядок. Союз писателей, Литфонд, – это кормушка, это разврат, это даровые деньги, это безответственность. Принимают человека в Союз писателей, и тут же ему подавай квартиру в Москве. Я за поддержку писателей, но поддержку моральную. Если крестьянин пишет книги, то пусть крестьянский труд не бросает, если он учитель, как Солженицын, то пусть им и остается».

Отец вспомнил украинского писателя Михаила Коцюбинского: «...он до революции много хороших книг написал, но продолжал работать в Статистическом бюро Черниговской губернии. У нас же – это страшное оскорбление для писателя. Даже если он и не пишет ничего, а пьянствует за счет Литфонда. Куда это годится?»

Все согласились, что не годится никуда, но этим и ограничились.

Поговорили о Константине Гамсахурдии, с ним отец встречался еще в 1949 году, помянули песенки Булата Окуджавы и стихи Евтушенко. Зашел разговор, не следует ли создать некий общественно-идеологический совет под председательством Суслова. Но тут вмешался Ильичев, напомнивший, что Идеологическая комиссия в ЦК давно существует. Обсуждение постепенно сошло на нет.

После апрельского заседания отец, неожиданно для Суслова, отказался от доклада на уже объявленном в газетах Пленуме ЦК по вопросам идеологии и предложил выступить Суслову как секретарю ЦК, ответственному за это направление. Михаил Андреевич от доклада неожиданно уклонился, хотя по меркам того времени доложить Пленуму – большая честь, даже для члена Президиума ЦК. Он перепихнул доклад на всё того же Ильичева. Открытие Пленума тоже передвинули с 28 мая на 18 июня. Дело в том, что в конце апреля в Москву прилетел Фидель Кастро, и отцу не хотелось отвлекаться от кубинского гостя на уже ощущавшиеся обузой разбирательства с писателями и художниками. Жизнь постепенно вырубивала на «доманежную» колею. Нужно сказать, что бурные, с руганью, выяснения отношений с Хрущевым не столько навредили, сколько прославили «отступников» и в стране, и особенно за рубежом. Конечно, Евтушенко и Вознесенский и без того не страдали от безвестности, но и им дополнительная «реклама» не повредила. А вот Неизвестный, Жутовский или Голицын в один день стали не просто известными, а всемирно знаменитыми. Самые солидные зарубежные газеты и журналы печатали о них статьи, западные дипломаты и журналисты, не торгуясь, скупали их работы. Чем больше их прижимали здесь, тем популярнее они становились там. Воистину, как по закону сохранения материи: что в одном месте убавится, то в другом месте прибавит.

Открывшийся 18 июня 1963 года идеологический Пленум ЦК прошел буднично. Ильичев доложил формально. Формально упомянул прошедшие совещания, сухо оценил их вклад, к разгрому «отбившихся от стаи» отступников не призывал.

Суслов тоже докладывал на Пленуме, но не об идеологии. Он говорил о нарастающей ссоре с китайцами, критиковал Мао Цзэдуна, обвинявшего Хрущева в «обуржуазивании, ревизионизме и примирении с Америкой». Как-то сама собой направленность Пленума поменялась, нацеленная изначально вовнутрь, она развернулась вовне. Объектом критики вместо поэтов и абстракционистов-скульпторов стали китайские «ультрареволюционеры». В результате доклад Суслова превратился в заглавный, оттеснив на задний план не только Ильичева, но и Андропова. Согласно распределению ролей в ЦК, доклад о Китае полагалось произнести Юрию Владимировичу, но Суслов убедил отца, что столь серьезный вопрос должен осветить член Президиума, а не просто секретарь ЦК. Выступавшие в прениях тоже сосредоточились на Китае, «модернистов» или вообще не поминали, или касались их вскользь.

На Пленум, помимо членов ЦК, отец, как обычно, пригласил множество народа, в том числе и Михаила Ромма. Естественно, его в первую очередь интересовало, что скажут о его коллегах и лично о нем, а не о китайцах. В результате акценты оказываются смещенными, но тем не менее, как и прежде, я предпочту живые впечатления Рома сухим строчкам стенограммы.

«Наконец состоялся Пленум. На Пленум пригласили больше двух тысяч гостей. Сделал Суслов доклад по китайскому вопросу, Ильичев – по вопросам культуры. Пошли обыкновенные речи. Я (М. Ромм. – С. Х.), признаться, все это забыл и сейчас не могу вспомнить, что же там говорилось. Так или иначе, прошли эти речи, а я все жду, до меня все не доходят. Наконец, уж на третий день, выступил секретарь ЦК комсомола Сергей Павлов. Начинает Павлов с целины, идет по целине, шагает, ну и дошагал наконец до меня: “Некоторые вот тут предъявляют претензии к нашей молодежи. А чего мы можем требовать от нашей молодежи, если среди наставников этой молодежи числятся такие, с позволения сказать, профессора, как Михаил Ромм, который пропагандирует общечеловеческую мораль и лирическое...” Что “лирическое”, он не договорил, потому что вдруг его прервал Хрущев: “О шатаниях товарища Ромма нам известно, – сказал Хрущев. – Мы сами разберемся в этом вопросе, – помолчал и добавил: – Но мы надеемся, что этот крупный мастер еще встанет на ноги”.

Ну, я, правда, тоже надеялся, что “встану на ноги”, но во всяком случае понял, что продолжать речь Павлов не будет. Действительно, он нежно улыбнулся, перелистал страничку и пошел дальше шагать по целине. Я сижу в некотором недоумении, так и не понимаю – что это, угроза? Или, наоборот, индульгенция? Хорошо уж, по крайней мере, что речь Павлова прервана».

Не знаю, можно ли происшедшее назвать «индульгенцией», но отец таким, очень понятным для функционеров жестом, дал понять, что довольно болтовни, настоящим делом следует заниматься.

«Дело мое после этого замерло, – пишет Ромм, – из Президиума ЦК его спустили куда-то в МК, из МК в райком, а из райкома партии в партком. Там оно и затухло».

В чем состояло «дело Ромма», я не знаю, а копаться в архивах поленился, никакого это сейчас значения не имеет.

Если «дело Ромма» затухло, то идеологические баталии только затухали. Сусловские идеологи при каждом удобном случае пытались их реанимировать, снова вовлечь в них Хрущева. Следующий «удобный случай» представился во время Международного кинофестиваля, проходившего в Москве с 7 по 21 июля 1963 года. Традиции отдавать главные призы только нашим фильмам тогда уже отошли в прошлое. Жюри присудило первое место ленте «8 1/2» очень знаменитого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Решение, для киношников естественное и справедливое, у идеологов вызвало бурную реакцию. Аргументация сводилась к ставшей уже привычной формуле: фильм далек от реалистических традиций, заражает буржуазной идеологией здоровое социалистическое общество. Предлага-

лось: главного приза не давать, фильм к широкому показу не допускать. Легко представить масштаб скандала, что там Манеж...

Суслов уехал в отпуск, и Ильичев остался ответственным на идеологическом «хозяйстве». Оказавшись между молотом Международного жюри и сусловской наковальней, Леонид Федорович бросился к Хрущеву. Отец собрал на заседание Президиума ЦК находившихся в Москве, тех, кто не разъехался по отпускам, «заинтересованных» лиц: Брежнева, Кириченко, Полякова, Рудакова, Пономарева, Ильичева и Андропова из ЦК, плюс председателя Кинокомитета Алексея Владимировича Романова. Ни Брежнева, ни Кириченко, а уж тем более «сельскохозяйственника» Полякова с «промышленником» Рудаковым какой-то Феллини и не интересовал, и о его фильме они не слышали. Тем не менее, собравшиеся дружно обругали Романова. Кто-то, в протокольных записях не обозначено кто, назвал его «обывателем», прозвучало предложение «дезавуировать приз», но потом, поразмыслив, решили не рубить сплеча, поручили с Феллини, его фильмом и присужденной ему премией «разобраться» и высказать свое отношение Секретариату ЦК, то есть Хрущеву.

Фильм тем же вечером прислали к нам на дачу. Обычно о показе фильмов на даче широко оповещалась вся семья, на этот раз отец не позвал никого.

Я заехал на дачу случайно. В доме пусто. На вопрос, где отец, мне ответили, что он смотрит фильм, присланный из ЦК, а не из кинопроката, как обычно. Я заглянул в зал. Бросил взгляд на экран и ужаснулся, «Восемь с половиной» я уже успел посмотреть во время конкурсного показа. Нужно сказать, что я, как и сусловцы, полагал, что реакция отца будет крайне негативной. В произведениях такого рода рядовому зрителю достаточно сложно разобраться, залы в кинотеатрах при их демонстрации пустуют. Не скрою, и мне фильм казался вычурным и скучным.

Я проскользнул в зал, тихо сел на диван рядом с отцом, выждал несколько минут и стал нашептывать: какой Феллини гениальный режиссер, какой фурор произвел его фильм в мире, что он символизирует... тут я запнулся. По правде говоря, я понятия не имел, что он символизирует.

– Иди отсюда и не мешай, – прошепел он.

Расстроенный, я ушел. Вскоре сеанс закончился. Отец вышел в парк, и мы отправились на прогулку.

– Как тебе показался фильм? Это знаменитый режиссер... – начал я.

– Я тебе сказал, не приставай, – оборвал меня, теперь уже беззлобно, отец. – Фильму дали главный приз на фестивале. Суслов с Ильичевым против и просили меня посмотреть.

– И что? – заикнулся я.

– Я мало что понял, но международное жюри присудило приз. Я здесь при чем? Они лучше понимают, для этого там и сидят. Обязательно надо мне подсовывать... Я уже позвонил Ильичеву, сказал, чтобы он не вмешивался.

Я вздохнул с облегчением. Разговор перешел на другую тему, и больше к Феллини не возвращался.

Скандала не получилось, ведь в случае вмешательства «сверху» в решение жюри его иностранные члены грозили покинуть Москву. Теперь все вздохнули с облегчением, в том числе и Ильичев. Сам он против Феллини ничего не имел, а теперь еще, с помощью отца, утер нос Суслову, но не более того. Как и предполагал Михаил Андреевич, за Ильичевым на всю оставшуюся жизнь накрепко закрепились репутация ретрограда.

Через две недели после закрытия кинофестиваля в Москве, 5 августа 1963 года, в Ленинграде открывалась Сессия Европейского сообщества писателей (КОМЕС). Наши писатели – и «те», и «не те», единодушно придавали ей наиважнейшее значение. Туда отправились все знаменитости, от Твардовского до Шолохова. Все, кроме Эренбурга. Искушенный политик, Эренбург понимал, что без него, популярного на Западе советского писателя, к

тому же раскритикованного отцом на совещании в Кремле, к тому же еврея, в Ленинграде не обойдётся. Лучше иных он ощущал и начавшуюся в ЦК подвигу на «доманежную» колею.

После встречи в Доме приемов 17 декабря 1962 года, когда только началось завинчивание гаек, первые главы очередной, пятой книги воспоминаний Эренбурга еще кое-как проскочили в январский 1963 года номер «Нового мира», а потом все застопорилось. Цензура встала насмерть.

Продолжение мемуаров появилось лишь в третьем, мартовском, номере «Нового мира», и только как следствие письма, которое Илья Григорьевич направил Хрущеву. На совещании в Кремле 7–8 марта 1963 года вновь склоняли Эренбурга, и снова все встало. Издательство «Советский писатель», включившее в план публикацию воспоминаний, из плана их не исключало, но и не печатало, ожидало прояснения обстановки, а пока одолевало автора замечаниями и откровенными придирками.

Илья Григорьевич решил снова апеллировать к Никите Сергеевичу. Обращаться непосредственно к Хрущеву Эренбург на сей раз воздержался, опытный царедворец сталинской школы, он предпринял обходной маневр, направил письмо одному из секретарей Союза писателей поэту Алексею Суркову с формальным отказом от поездки в Ленинград: он-де стар, стоит на пороге могилы, к тому же не знает теперь, кто он в своей стране: его не печатают, издание собрания сочинений приостановлено и далее в том же роде на нескольких листах. Эренбург не сомневался, что игра его беспроигрышна. И не ошибся. Сурков тут же передал письмо Твардовскому, тот побежал с ним к Лебедеву, Лебедев положил письмо в почту отцу.

Отец ощущал неудобство за все резкости, высказанные им в адрес Эренбурга в последние месяцы, и тоже искал случая, чтобы сгладить возникшие шероховатости. Он не просто принял Эренбурга, а принял его немедленно. Говорили они полтора часа, с 12.05 до 13.30, так записано в журнале посещений. В результате отец не просто извинился за допущенные им резкости, но пожаловался, что его снова ввели в заблуждение, снабдив цитатами, произвольно надерганными из книги мемуаров Эренбурга. Теперь он сам прочитал все от начала до конца и не обнаружил в ней ничего вредного. Что же касается проволок в «Советском писателе», то он пообещал свое содействие, рассказал, как он прошлой осенью говорил Твардовскому, что «писателям такого масштаба цензура не требуется». Разговор состоялся 3 августа 1963 года, а в начале 1964 года том с воспоминаниями Эренбурга появился на полках книжных магазинов.

Покончив с книжным вопросом, Эренбург начал жаловаться, что из-за усталости и занятости в Ленинград он никак выбраться не может. Отец убеждал, что его присутствие на форуме европейских писателей необходимо из государственных соображений, которые Эренбург понимает лучше других и которым он всегда следовал. Собственно, такой поворот событий Илья Григорьевич и планировал. Однако Хрущев пошел дальше, осведомился, не стоит ли ему самому вместе с Эренбургом съездить в Ленинград, пообщаться с европейскими и нашими писателями и таким образом восстановить нарушенные недавними событиями отношения не с одним Эренбургом, а со стоявшей за ним значительной частью писательского сообщества.

Илья Григорьевич ехать в Ленинград отцу отсоветовал. Договорились, что после завершения собрания в Ленинграде он пригласит писателей к себе, на Пицунду. Отец днями собирался в отпуск.

Уже прощаясь, Эренбург заговорил о реабилитации Федора Федоровича Раскольников, военачальника и дипломата – еще одной жертвы Сталина. Раскольников вскоре восстановили в правах. Посмертно.

В Ленинград Эренбург прибыл с опозданием на день, 6 августа 1963 года, в замечательном настроении. Он всем рассказывал, что Хрущев принял его очень хорошо, «мило-

стиво сказал, что он, Эренбург, имеет право печатать все, что захочет, что для него не существует цензоров». Далее следовал подробный пересказ разговора. В частности, по словам Эренбурга, когда он упомянул о своем неудачном письме Хрущеву о «мирном сосуществовании в искусстве», тот «замахал на него руками: оставьте, это – пустое».

Затем Эренбург похвастался, как вступился за Евтушенко и Вознесенского, Хрущев с ним и тут согласился, попросил Лебедева проследить, чтобы к ним не «придирались».

13 августа 1963 года европейские писатели, вместе с нашими, прилетели к отцу на Пицунду. Не все, конечно, но достаточно представительная делегация во главе с Твардовским. Он преследовал еще и собственный интерес, надеялся, что на Пицунде ему наконец-то удастся решить вопрос публикации своей многострадальной поэмы «Теркин на том свете». Как помним, еще прошлым октябрем он заручился обещанием отца прочитать ее и помочь «пробить» сквозь цензуру. Однако Манеж и последующие события спутали все карты. Теперь же все возвращалось на круги своя. В июне, сразу после Пленума ЦК, Твардовский передал Лебедеву окончательный текст поэмы. Ни сам Твардовский, ни Лебедев секрета из этого не делали, и слух, что «опальную» поэму «будут читать в отпуске», как в прошлом году читали «Ивана Денисовича», быстро распространился по цеховским кабинетам.

В конце июля, накануне отъезда Твардовского в Ленинград, его после долгого перерыва пригласил к себе Ильичев, говорил о том о сем и наконец попросил дать и ему почитать «Теркина...» Собственно, ради этого он и зазвал к себе Твардовского, но тот, не желая рисковать, уклонился, сказал, что обещал первому дать ее прочитать Хрущеву.

«Все это событие укладывается в несколько решающих часов и похоже на цепь случайностей, счастливых совпадений, – записал Твардовский в дневнике 18 августа 1963 года. – В самолете (они летели вместе с Лебедевым. – С. Х.) я подбросил мыслишку Владимиру Семеновичу, что читать мог бы и в присутствии коллег – сопровождавших “европейцев” русских писателей».

Встречу в Пицунде подробно описали: сам Твардовский в дневнике и, с его слов, Владимир Лакшин.

Начну с Лакшина.

«Я попросил Александра Трифоновича рассказать, как дело было в Пицунде, и он с удовольствием повторил для меня этот рассказ.

Только прилетели 18 августа 1963 года и расположились в домиках для гостей, прибежал Снастин:⁸² “Зовут!” Все отправились в парк, где их встречал Хрущев.

Потом в зале был некий официальный момент – произносились приветственные речи. Обращаясь к зарубежным писателям, Хрущев говорил не очень любезно. Подоплека этого та, что на другой даче, за его забором, отдыхал Морис Торез. К нему еще накануне приехал из Ленинграда Андре Стиль, бывший на Сессии европейских писателей наблюдателем, и высказался тенденциозно, что-де КОМЕС коммунистов-писателей в Ленинграде не пригласил, а буржуазных литераторов тут принимают со всей сердечностью. Со слов Стиля, Торез выразил свое недовольство Хрущеву. И Никите Сергеевичу пришлось объясняться.

Так или иначе, но Хрущев простодушно обратился к собравшимся гостям: “Вот среди нас есть и писатели, защищающие интересы социализма, и писатели – защитники интересов буржуазии...” Это вызвало протест Сартра: “Буржуазных писателей здесь нет”.

Пошли к столам, и за обедом атмосфера потеплела. Вигорелли (итальянский писатель, президент КОМЕС. – С. Х.) сказал, наклонившись к Хрущеву, что он хочет процитировать ему один пункт устава КОМЕС, и произнес по памяти: “Сообщество принимает в свои ряды

⁸² Ответственный работник аппарата ЦК.

коммунистов, но не принимает антикоммунистов, которых приравнивает к фашистам”. Хрущев закивал, это помогло дальнейшему общению».

Твардовский держал себя строго, не пил спиртного, почти не ел, потому что знал, что ему, возможно, предстоит читать Хрущеву поэму после обеда. (По предварительному разговору с Лебедевым выходило так, что иностранцы разъедутся, а Александр Трифонович прочтет поэму в узком кругу, пригласят лишь Федина и Шолохова.) Предложение Хрущева читать за обедом, «поэксплуатировать» Твардовского в присутствии всех гостей, прозвучало неожиданно.

«Никита Сергеевич произнес с полной непринужденностью, как будто никакой договоренности не существовало: “Я слышал, у Александра Трифоновича есть что-то новенькое. Может быть, попросим его прочесть”», – уточняет детали Лакшин.

«Унгаретти и Вигорелли успели откланяться, но все прочие остались, – я снова обращаюсь к дневнику Твардовского. – Чтение длилось сорок минут. Никита Сергеевич почти все время улыбался, иногда даже смеялся тихо, по-стариковски. Этот смех у него я знаю: очень приятный, простодушный и даже чем-то трогательный. В середине чтения я попросил разрешения сделать две затяжки. Дочитывал в поту от волнения и от взятого темпа, моя дорожная, накануне еще ношенная весь день – светло-синяя рубашка на груди потемнела. Кончил, раздались аплодисменты. Никита Сергеевич встал, протянул мне руку: “Поздравляю, спасибо”. Тут пошли реплики, похвалы, но Сурков быстро сообразил, что “обсуждения” не должно быть, и предложил тост за необычный факт прослушивания главой великого государства в присутствии литераторов, в том числе иностранных, нового произведения отечественного поэта».

Напомню, что именно Алексей Сурков, поэт и секретарь Союза писателей, в 1954 году первым поднял вокруг «Теркина на том свете» бучу, приведшую к запрету поэмы на долгие восемь лет. Твардовский ему «обязан» и многими иными неприятностями. В марте 1963 года в Кремле Сурков Твардовского «не замечал», теперь ветер переменился, «переменился» и он.

«Потом я, решительно не принимавший ничего спиртного ни накануне, ни за столом, – продолжает Твардовский, – попросил у Никиты Сергеевича разрешения (это было довольно смело) “промочить горло”. Он пододвинул мне коньяк, я налил. “Налейте и мне, – сказал он, – пока врача вблизи нету”. Когда я наливал ему, рука так позорно дрожала, что это многие заметили, но, конечно, это могло быть отнесено только за счет волнения».

Об алкоголизме Твардовского знали все, в том числе и отец, поэт страдал неимоверно, но ничего с собой поделать не мог.

«За обедом у Сартра не было переводчика, – это уже цитата из Лакшина, – и Александр Трифонович спросил его потом, не скучал ли он во время чтения? Сартр ответил: “Нисколько. Я наблюдал выражение лица Хрущева и людей, его окружающих. Это был очень интересный спектакль”.

Когда чтение закончилось, Хрущев попросил оставить ему рукопись, хотел еще раз прочесть ее глазами. Подошел к Александру Трифоновичу и обнял его Шолохов. Было только два явственно недовольных лица – писатель Чаковский и поэт Прокофьев. Особенно последний, он надеялся, что и его, вслед за Твардовским попросят прочитать стихи. Не попросили.

Тут же подлетел Аджубей, сказал, что он просит поэму для “Известий”, отказать ему было нельзя», – пересказывает Лакшин впечатления Твардовского.

Алексей Иванович изображает эту сцену несколько иначе: якобы после чтения сам Хрущев спросил:

– Ну, кто смелый, кто напечатает?

Пауза затягивалась, и я не выдержал:

– «Известия» берут с охотой.

После одобрения отцом для публикации поэмы никакой смелости не требовалось, он заволновался, как бы отец снова не предпочел «Правду». Отец промолчал.

Твардовский отдавал стихи Алексею Ивановичу без охоты.

«Подошел Аджубей с конкретными предложениями, посулами соблюдения всех необходимых условий, – в дневнике Твардовского приводится его собственная интерпретация процесса передачи поэмы в печать. – Там же он сказал мне, что хочет написать “врез” (краткие редакционные комментарии. – С. Х.). “Нужно ли?” – сказал я. “Нужно, говорит, вы потом посмотрите, – не захотите – не надо”.

Теперь я, несмотря на все, соображаю, что надо, хотя написано плохо – фразисто и извилисто. На дорогу он пытался мне дать бутылку коньяка со стола, но я не принял».

Еще одну любопытную деталь приводит в своей книге Лакшин: «В последний момент, уже в Москве, Твардовскому позвонил заместитель начальника Главлита Степан Петрович Аветисян, умолял, именно умолял снять строки о номенклатурных дураках:

От иных попросишь чуру,
И в отставку не хотят,
Тех, как водится, в цензуру
На повышенный оклад.
А уж с этой работенки
Дальше некуда спешить...

“Это же просто неверно, оклады в Главлите небольшие”, – взывал к Твардовскому Аветисян. Потом позвонил второй раз: “Подумайте, что о нас будут говорить”. – “А вы зачем на себя принимаете?” – не без лукавства спрашивал Александр Трифонович. Положив трубку и обращаясь ко мне, сказал: “Может быть, это жестоко. Вот он придет домой и как жене и детям этот номер «Известий» покажет?... Да уж пусть. Они заслужили”.

Вспомнил по этому поводу пушкинское стихотворение “На выздоровление Лукулла”, в котором прототип узнал себя по строчке, где говорилось, что он крал казенные дрова.

Все эти переговоры с цензором были маленькой мстостью за мучения последних месяцев и позабавили нас немало».

«Известия» с «Теркиным на том свете» вышли в Москве вечером 17 августа 1963 года и разлетелись по всей стране утром 18-го.

Итак, эта «пренеприятнейшая» история вспухла, с подачи Суслова, в Манеже 1 декабря 1962 года, взорвалась в Свердловском зале Кремля 7–8 марта 1963 года, сошла на нет 18–22 июня 1963 года на Пленуме ЦК и окончательно рассосалась на Пицунде 13 августа 1963 года.

Теперь давайте проследим, хотя бы выборочную, дальнейшую судьбу «героев», описанных в этой главе разбирательств. Еще 8 июня 1963 года, то есть до Пленума ЦК, Идеологический отдел ЦК КПСС докладывал руководству «О настроениях в творческих союзах». Приведу некоторые цитаты: «Творческие работники отнеслись к критике ответственно и серьезно. Писатель Аксенов, по своей инициативе, принес в “Правду” выступление, в котором он говорит, что встречи помогли ему “укрепить свой шаг в общем строю и свою зоркость, по-новому и гораздо шире понять свои задачи”. С подобными заявлениями выступили в “Правде” Р. Рождественский, А. Васнецов, Э. Неизвестный. А. Вознесенский заявил, что он своим трудом докажет правильное отношение к партийной критике его ошибок».

Несколько иначе повел себя Е. Евтушенко. На пленуме Союза писателей он выступил недостаточно самокритично, пытаясь доказать, что исходил из самых хороших побуждений...

На отчетно-перевыборной конференции МОСХ художник Никонов заявил, что административные меры, принятые по отношению к группе молодых художников, противоречат духу партийной критики». И так далее на четырех страницах убористым шрифтом.

13 октября 1963 года, в годовщину публикации «Наследников Сталина» Евтушенко, воскресная «Правда» поместила большой, в пол-листа, отрывок из поэмы «Лонжюмо» Андрея Вознесенского о Ленине в Париже. В отличие от Евтушенко, Вознесенский с «наследниками Сталина» не связывался, обратился к истории.

В 1963 году состоялся очередной съезд Союза художников России. «Герой» Манежа, председатель президиума Союза Владимир Серов оттягивал его, сколько мог, пока на него не надавил Ильичев, обвинил его в нарушении демократической процедуры, пригрозил, что нажалуется Хрущеву. Серову пришлось подчиниться. И Серов, и Ильичев не сомневались, что без нажима сверху Серова в председатели не переизберут. Сверху не давили. После Манежа Ильичев Серова на дух не переносил, а Суслов потерял к нему всякий интерес – мавр сделал свое дело. На выборах в президиум Серова «прокатили».

27 декабря 1963 года повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выдвинули на соискание наивысшей советской Ленинской премии.

В Новогоднюю ночь 1964 года в Кремлевский дворец съездов пригласили Элия Белютин: «Этот зал, расположенный почти под самой крышей и невидимый со стороны Ивановской площади, был переполнен столами и людьми. Начинался последний год правления Хрущева, и он, сидя во главе огромного стола, то и дело наливал в большой фужер водку и говорил, вещал, пророчествовал».

Насчет водки, да еще наливаемой в фужеры, Белютин позволил себе пофантазировать. От отца он сидел далеко и не видел, что за бутылка перед отцом. А что еще можно пить в такую ночь? Отец же пил «Боржоми», как пил его последние годы регулярно и помногу. Водку же, вернее коньяк, он к тому времени почти не употреблял. Я уже писал о его проблемах с почками.

«Наконец Хрущев встал и направился к маленькой двери, – продолжает Белютин. – Я заметил, как сидевший рядом со мной человек с кем-то переглянулся, быстро встал и сказал: “Пойдемте, нас ждут”. Мы подошли к другой двери. Она открылась, будто сама. Прошли двумя коридорами и очутились в небольшом холле без окон, где стоял пригласивший меня на прием человек с другим, знакомым мне по Манежу. Последний протянул мне руку и сказал: “Сейчас здесь будет Никита Сергеевич, пожелайте ему хорошего Нового года”. Не успел он закончить этих слов, как открылась дверь и показался Хрущев. Он быстро оглядел комнату, увидел сразу всех, задержался на мне, узнал и, протянув руку человеку, меня пригласившему (скорее всего это был все тот же Лебедев), сказал: “Мне кажется, мы еще не здоровались. Поздравляю, и чтобы все у тебя и у нас было хорошо”».

Его собеседник улыбнулся, отступил на шаг и, полуобняв меня, пододвинул к Хрущеву: “Вот, Никита Сергеевич, Белютин хотел поздравить вас с Новым годом”. Хрущев повернулся. Хотя он на моих глазах много выпил, его лицо было трезвым, глаза блестели, голос был твердым и оживленным. За его спиной я увидел Брежнева.

– Я хотел бы пожелать от своего лица и лица многих молодых художников, – сказал я, глядя в его маленькие глаза на плоском лице с удивительно белыми белками, – вам и Президиуму хорошего Нового года и здоровья.

– Спасибо, – сказал Хрущев и протянул руку. Я почувствовал ее тепло, она была сухая и вялая.

– Передайте от меня вашим товарищам, что я их поздравляю с Новым годом и надеюсь, они скоро залечат раны, – он улыбнулся, – и, как говорится, создадут что-нибудь более понятное.

Он рассмеялся и, толкнув меня в плечо, пошел к двери. Брежнев, шедший за ним, задержался на секунду.

– Поздравляю, – сказал он и тоже протянул руку.

В середине 1964 года меня пригласили в горком партии, в Отдел культуры, и полная ширококостная женщина, оказавшаяся заведующей отделом, спросила меня, не мешают ли мне работать, – я только пожал плечами.

– А то из ЦК просили узнать, нет ли с вашей стороны или со стороны ваших учеников каких-либо жалоб. Мы примем строгие меры, мы одернем, – продолжала она.

Я вспомнил, как в МОСХе моих учеников, членов союза, исключили на год (для острастки!) из союза (именно на эти административные меры, как написано выше в справке Идеологического отдела ЦК, жаловался художник Никонов. – С. Х.), а многих, с ведома именно этой женщины, лишили творческой работы. Что можно было ответить?

– За заботу спасибо, но я пришел к вам с просьбой. Дело в том, что нам до сих пор не вернули выставлявшихся в Манеже полотен. Судя по всему, кампания уже кончается. Манеж как будто поставлен на ремонт. Зачем же продолжать держать под арестом нашу живопись?

Не знаю, подействовал ли мой разговор, но через три недели мои ученики получили право забрать свои холсты. Через месяц мы сделали выставку. Ворота впускали людей. Их было очень много. И не только из Москвы».

29 июля 1964 года от рака умерла Ванда Львовна Василевская, не знаю, какой уж она писатель, но женщина бескомпромиссная, неудобная как для властей, так и для творческих группировок, включая свою собственную.

В октябре 1964 года Хрущева отстранили от власти. В идеологии безраздельно воцарился Суслов. Вопреки логике, тогда многие связывали с ним свои надежды.

«Я в тот же день вылетел в Москву и поехал в Абрамцево. Подходя к воротам, я услышал голоса. Участок был полон людей. Многие из приехавших поздравляли меня со снятием Хрущева и всей его администрации, которая, как они говорили, “хотела вас утопить”, передавали, что говорил Суслов, осуждая Хрущева за Манеж, – вспоминает Белютин. – Стоя среди десятков возбужденных людей, видевших уже скорое признание возможности свободного развития нового советского искусства, я грустно думал об их хороших душах и о том, что в действительности все это было нашим концом, потерей всяких надежд на признание.

Человек, участвовавший в перевороте и формально не возглавлявший партии, тем не менее, занял первое место в ней и теперь начнет сводить счеты со всеми, кто хоть сколько-нибудь проявил себя в годы хрущевской оттепели. Суслов не мог перемениться в свои шестьдесят с лишним лет, и если у Хрущева были сталинские методы мышления, но душа русского человека, у Суслова, кроме идей Сталина, ничего не могло быть. Возврат гигантского государства к примитивным методам Сталина был концом не только культуры, но и угрозой для экономики.

За зиму и весну, казалось, ничего не произошло, хотя все чувствовали, что идет активная прополка кадров», – заканчивает свое повествование Белютин.

Михаил Андреевич пропалывал идеологическую грядку тщательно и, я бы сказал, с наслаждением. В ноябре 1964 года Ильичева выгнали из ЦК и «сослали» в МИД, назначили заместителем министра, курирующим африканские дела. Когда выяснилось, что и после Хрущева с китайцами наладить отношения не удастся, Леонида Федоровича сделали ответственным еще и за переговоры с Пекином. Он переговаривался до самой своей окончательной отставки в 1989 году и продолжал собирать картины. В конце 80-х годов по телевизору показывали, как академик Ильичев дарил Советскому фонду культуры свою коллекцию живописи. Она состояла далеко не из одних социалистических реалистов... Умер он в 1990 году, пенсионером.

С помощником отца Владимиром Семеновичем Лебедевым Суслов расправился с особым наслаждением, низверг его с пятого, самого престижного, этажа ЦК в подвал Госполитиздата. Там его назначили младшим редактором и постоянными придирками за полтора года свели в могилу. Лебедев умер в январе 1966 года.

Павла Алексеевича Сатюкова отставили от «Правды», так же, как Аджубея от «Известий» минута в минуту с отцом. Суслов опасался, как бы они чего не натворили. Назначили обоих на самые незначительные журналистские роли, без права писать, вернее, подписываться собственной фамилией. Сатюков умер в 1976 году, Аджубей – в 1993-м.

Боря Жутовский, один из белютинцев, стал постоянным и желанным гостем на даче отставленного отца в Петрово-Дальнем под Москвой. На один из дней рождений подарил ему картинку, не абстрактную и не реалистическую, а сказочную: симпатичный улыбающийся мишка и еще какие-то красные ягоды. Она теперь хранится у меня. Великим Борис не стал, выставляется в меру.

С Евтушенко опальный отец встретился лишь однажды, в конце августа 1971 года, за неделю-полторы до смерти. Евгений Александрович навестил отца в Петрово-Дальнем. На лавочке в лесу они проговорили несколько часов. Под впечатлением этой встречи отец продиктовал ставшую прощальной главой в свои мемуары: «Я не судья». В ней он, порассуждав на тему: «Без терпимости со стороны властей к творчеству художник жить не может», вспомнил, как помог Казакевичу и Солженицыну. Попытался заочно объяснить с Эренбургом насчет «оттепели», которая не должна перерасти в «половодье», сметающее на своем пути, извинился перед Неизвестным и Шостаковичем: «если бы мы встретились сейчас, то я попросил бы прощения. Я занимал высокий государственный пост, обязывающий к сдержанности. Нельзя административно-полицейскими методами бороться с творческой интеллигенцией: ни в живописи, ни в скульптуре, ни в музыке, ни в чем!» Извинился и тут же пояснил: «Раскаиваясь сейчас относительно формы критики Неизвестного, я остаюсь противником абстрактного искусства».

«Шостакович написал много прекрасных сочинений, в том числе шедевр – Седьмую “Ленинградскую” симфонию, – продолжает отец. – Я не понял Шостаковича, когда он продвигал джазовую музыку, а он был прав. Нельзя ни с какой музыкой, включая джазовую, бороться административными путями. Пусть сам народ выразит к ней свое отношение».

Я не написал об инциденте с Шостаковичем, происшедшем в том же, 1963 году. Он, председатель Союза композиторов РСФСР, пригласил отца на свой концерт в Кремлевском театре, который предварил выступлением сразу пяти лучших московских джазов. Оглушенный отец в сердцах высказал тогда композитору все, что он думал...

«Я человек уже старый, воспитанный на иных формах музыкального искусства. Мне нравится народная и классическая музыка, – приносит свое “покаяние” (это его слово) отец. – Но не джазовая, она действует мне на нервы».

После отставки Хрущева жизнь поэта и редактора Александра Трифоновича Твардовского, как он выразился сам, «не задалась», ему не писалось, в «Новом мире» ничего путного не печаталось. В 1970 году Твардовского официально отлучили от «Нового мира». «Заканчивал жизненный путь Александр Трифонович без почета», – написал в том же отрывке об интеллигенции отец.

11 сентября 1971 года отец умер. Похоронили его в дальнем углу Новодевичьего кладбища, у самой стены.

В декабре 1971 года на том кладбище, у той же стены, в том же ряду, и более того, в могилу, ранее открытую для отца, а потом отставленную, похоронили поэта и неугомонного человека Твардовского.

В том же кладбищенском ряду у стены покоится прах непримиримого оппонента Твардовского писателя Кочетова. Теперь, когда все баталии позади, они разнятся лишь деревьями

над их могилами. У Твардовского растет дуб, у Кочетова – кедр, а отцу я посадил его любимые березки с рябинами.

В 1975 году Эрнст Неизвестный сделал Никите Сергеевичу черно-белое надгробие. Это его наиболее известная работа.

Евтушенко живет в городе нефтяников в штате Оклахома, США, преподает поэзию в местном университете, пишет, выступает, в 2005 году выпустил антологию российской поэзии и постепенно становится в ряд великих русских поэтов, по крайней мере, XX века.

Вознесенский продолжает писать, многие отдают предпочтение его поэзии перед другими современниками. К сожалению, в последнее время он стал прихварывать, годы берет свое.

Белютин тоже в порядке. В начале XXI века жил в Москве, пытался подарить городу собранную за всю жизнь коллекцию живописи, но московские власти хитрили, завещанием не удовлетворялись, требовали все и сейчас. Чем дело закончилось, не знаю. Не интересовался.

Михаил Ромм после того, как в июне 1963 года отец отвел от него нападки бюрократов-идеологов, с головой ушел в работу над новой публицистической лентой «Обыкновенный фашизм». Закончил фильм вскоре после отставки отца и с огромным трудом проталкивал его демонстрацию. В 1966 году этот фильм наконец показали в кинотеатрах, но не первым экраном. Тогда же он задумал еще более «непроходной», тоже публицистический фильм «Мир сегодня». Однако снимать ему не позволили. Ромм нервничал и донервничался: в 1968 году у него случился инфаркт. Классик советского кино умер в ноябре 1971 года, пережив отца на полтора месяца.

И последнее. Среди людей пишущих бытует мнение, что, поссорившись с «прогрессивной» группировкой из среды интеллигенции, отец, потеряв их поддержку, вскоре потерял и власть. К политическим реалиям подобное утверждение отношения не имеет, его авторы сильно преувеличивают свою роль и влияние.

«Поэт в России – больше, чем поэт», но не в такой степени, чтобы от него зависела судьба власти и властителей. Тут действуют игроки повесомее.

Обидно, что отец поддался на провокацию, пусть и тщательно подготовленную. Можно оправдываться, объяснять, но невозможно ни оправдаться, ни объяснить, остается только сожалеть. По существу же, отец ничего не терял, ибо нельзя утратить того, что нет, не было и не может быть никогда. «Прогрессивные», равно как и «реакционные» (тут все зависит от того, как посмотреть) писатели, поэты, художники, скульпторы, композиторы и иже с ними не сомневаются в собственной гениальности, на худой конец, исключительно-сти, никогда и никого не поддерживают, они еще могут принять союзничество почитающих их творчество политиков, но сами до союза с политиками никогда не «унизятся». Ведь это они властители дум! И «прогрессисты», и «реакционеры» стремились использовать отца в собственных интересах и использовали. А использовав, потеряв в нем надобность, обратились к поискам очередного покровителя. Таковы реалии отношений этих двух миров, мира искусства и мира политики.

Другое дело, что несмотря на столкновения, споры, скандалы, новая писательско-поэтическая и иная поросль выросла и окрепла при Хрущеве и благодаря ему. Он с ними ссорился, но в отличие от Сталина, никого с российской «творческой» грядки не «выпалывал», а когда его лишили власти, новым властителям полностью «прополоть» грядку оказалось не под силу.

Затеянная в 1960-е годы дискуссия, кто важнее «физики или лирики», исчерпала себя. Ответ оказался, как это часто случается, прост. Поэт не станет хуже писать без знания сопромата, а сопроматчик рассчитает конструкции и без любви к стихосложению. Каждый занимается своим делом.

Отрадно, что в XXI веке «поэт в России» постепенно превращается просто в поэта. Он уже не раб, пишущий для «просвещенного деспота», жаждущий быть им прочитанным и обласканным. Он уже не «инженер человеческих душ», а просто поэт и не страдает от того, что «безграмотный» политик, президент или премьер его не читает, не ценит и даже вообще не подозревает о существовании поэта. Каждый занимается своим делом, поэт – рифмами, парламентарий – законами, а инженер рассчитывает сопротивление материалов, а не душ. Поэт в России теперь только лишь поэт.

Начиная эту главу, я написал, что речь в ней пойдет о событиях не самых значительных, но наиболее всем запомнившихся, запомнившихся потому, что они затронули людей пишущих, описывающих нашу, а скорее, свою жизнь. Смотрят они на жизнь со своей колокольни, свои проблемы и интересы выдают за общие. Ничего тут нет необычного, каждый из нас живет своими страданиями и радостями. А то, что переживания людей, описывающих жизнь, подаются читателям так, что становятся важнее самой жизни и даже порой заменяют ее, только свидетельствует о таланте пишущего.